

Шарль БОДЛЕР

проза



КОЛЛЕКЦИЯ



Ch. Baudelaire

Велюксин

КОПЛЕКЦИЯ

Charles

BAUDELAIRE



Шарль

БОШАЕР

проза

Перевод с французского

Харьков
«ФОЛИО»
2001

Серия «Вершины. Коллекция»
основана в 1999 году

Составитель
Е. Витковский

Комментарии
Е. Витковского, Е. Баевской

Художник
Е. Шиян

Cet ouvrage publié dans le cadre du Programme d'Aide
à la Publication SKOVORODA, bénéficie du soutien
de l'Ambassade de France en Ukraine

Дане видання здійснено у межах програми
підтримки видавничої діяльності «СКОВОРОДА»
за сприяння Посольства Франції в Україні

Данное издание осуществлено в рамках программы
поддержки издательской деятельности «СКОВОРОДА»
при содействии Посольства Франции в Украине

Бодлер Ш.

Б 75 Проза: Пер. с фр. / Сост. Е. Витковский; Коммент.
Е. Витковского, Е. Баевской; Художник Е. Шиян. —
Харьков: Фолио, 2001. — 527 с. — (Вершины. Коллек-
ция).

ISBN 966-03-1454-X.

В настоящее издание вошли прозаические произведения знаменитого французского поэта и прозаика Шарля Бодлера (1821—1867). Впервые публикуются на русском языке его работы об Эдгаре По; художественно-критические статьи о литературе, преимущественно французской; воспоминания о современниках: Т. Готье, Л. де Лиле, Э. Моро и др. Включены также «Искусственный рай» — книга о вине и наркотиках; максимы, афоризмы и дневники, в которых автор с горькой, а порой язвительной насмешкой вглядывается в себя и окружающий мир.

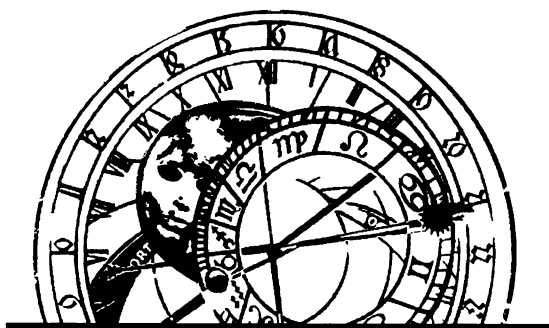
ББК 84.4 Фр

© Е. Витковский, составление, 2001
© Е. Витковский, Е. Баевская, комментарии, 2001
© Е. Шиян, художественное оформление, 2001
© Издательство «Фолио», марка серии, 2001

ISBN 966-03-1454-X



Очерки об Эдгаре По



ПРЕДИСЛОВИЕ К «МЕСМЕРИЧЕСКОМУ ОТКРОВЕНИЮ»

Введение

(«Свобода мысли», 15 июля 1848 г.)

Последнее время об Эдгаре По говорили немало. Слава его вместе с томиком новелл пересекла океан. И он этого вполне достоин. Он поразил — вот именно, скорее поразил, нежели взволновал или привел в восторг. Обычно так и происходит с писателями, которые творят, опираясь лишь на свой, ими самими созданный метод — непосредственное выражение их натуры. Не думаю, что можно найти крупного писателя, который не попытался бы изобрести собственный метод, или, вернее, не попытался бы преобразить свою врожденную восприимчивость в некое продуманное искусство. Таким образом, все значительные писатели — в той или иной мере философы: Дидро, Лакло, Гофман, Гёте, Жан Поль, Матюрен, Оноре де Бальзак, Эдгар По. Обратите внимание: я беру самые разнообразные, самые противоположные дарования. Это положение истинно для всех, даже для Дидро, самого смелого, самого дерзновенного из них, ведь он со всем прилежанием принялся, если можно так выразиться, регистрировать и направлять вдохновение; вначале он изучил, а изучив, начал литературно разрабатывать свою восторженную, полнокровную и буйную природу. Возьмите Стерна — феномен, выражающий себя совершенно иначе, ценимый за совершенно иные заслуги. Этот человек также создал свой особенный метод. И все они, упорно и с неутомимой верой, копируют природу, природу в чистом виде. Какую? Свою. Тем более, что эти писатели чаще всего бывают гораздо удивительнее и своеобразнее, чем люди, просто одаренные богатым воображением, но не наделенные фи-

лософским даром, способные лишь тасовать и выстраивать в ряд события, но не умеющие классифицировать их и объяснять их тайный смысл. Я сказал, что это были люди поразительные. Скажу больше: как правило, они и стремятся поразить. Многие из них в своем творчестве, как мы видим, постоянно тяготеют к сверхъестественному. Это тесно связано, как я уже говорил, с изначальным духом *выискивания*, да простят мне сей варваризм, — с духом инквизиторским, исследовательским, уходящим корнями в самые глубинные впечатления детства. Другие, ярые естествоиспытатели, исследуют душу с помощью лупы, подобно тому, как врачи исследуют тело, и только даром портят глаза, пытаясь найти ее движущую пружину. Третьи, некая смесь из тех и других, пытаются сплавить обе системы в таинственное единство. Единство животного начала, единство флюидов, единство первичной материи — все эти современные теории порой странным образом одновременно западают в головы поэтов и в головы ученых. В заключение скажу, что рано или поздно, но неизбежно наступает миг, когда писатели из тех, о ком я говорю, начинают как бы завидовать философам и, в свою очередь, создают собственную систему естественных законов, порой даже с известной долей самоуверенности, не лишенной, однако, очарования и простодушия. Мы знаем Серафиту-са, Луи Ламбера и множество эпизодов из других книг, где Бальзак, великий дух, пожираемый законной гордостью энциклопедиста, пытается сплавить в единую законченную систему различные идеи, извлеченные из Сведенборга, Месмера, Марата, Гёте и Жоффруа Сент-Илера. Идея Единства преследовала и Эдгара По, и он также потратил ничуть не меньше сил, чем Бальзак, гоняясь за излюбленной мечтой. Несомненно, эти сугубо литературные умы, если уж берутся за такое дело, то пускаются в необычайную скачку сквозь философию. И когда они мчатся по путям, поистине им принадлежащим, они совершают неожиданные прорывы в неведомое и уклоны в сторону от обыденности.

В заключение скажу, что в писателе *любопытны* такие три черты: 1 — *собственный* метод; 2 — *удивительное*; 3 — *пристрастие к философии*; эти три черты, впрочем, и объ-

ясняют превосходство таких писателей. Отрывок из Эдгара По в переводе, который вам предстоит прочитать, представляет местами в высшей степени утонченное рассуждение, иногда довольно темное, а временами исключительно смелое. Для перевода нужно было составить свое мнение и «переварить» эту вещь, оставив ее такою, какова она есть. Особенно было важно точно следовать тексту. Некоторые места предстали бы темными, но в ином смысле, чем у Эдгара По, если бы мне вздумалось переводить его другими словами вместо того, чтобы рабски, дословно следовать тексту. Я предпочел изложить его на неуклюжем, порой даже нелепом французском языке, лишь бы передать во всей подлинности философский стиль Эдгара По.

Само собой разумеется, что «Свобода мысли» отнюдь не разделяет идей американского писателя и надеется угодить своим читателям, предлагая им эту возвышенную философскую диковинку.



ЭДГАР АЛЛАН ПО, ЕГО ЖИЗНЬ И ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Предисловие к «Необычайным историям», 1856 г.

*Перевод посвящается Марии Клемм,
пылкой и самоотверженной матери,
для которой поэт и написал эти стихи*

Ибо я чувствую, что там, в Небесах,
Когда ангелы перешептываются,
Среди имен, пылающих любовью, им не найти
Имени жарче, нежели имя *матери*,
И я уже давно зову этим великим именем Вас —
Ведь Вы мне больше, чем мать,
Вы пребываете в святилище моего сердца, где Вас
утвердила Смерть,
Исторгшая душу моей Виргинии.
Моя мать, безвременно умершая родная мать,
Была лишь *моею*; но Вы —
Вы мать той, кого я любил так нежно,
И потому Вы мне дороже моей собственной
матери
На целую бесконечность — так же, как моя жена
Моей душе дороже, чем она сама.

Ш. Б.

...Верно, твой хозяин — несчастливец, упорно гонимый неумолимым Роком, все более и более гневным, оттого-то все его песни кончались одним-единственным припевом, оттого-то погребальное пение над его мертвой Надеждой избрало сей печальный припев: «Никогда! О, никогда!»

Эдгар По. Ворон

На троне бронзовом Судьба, смеясь зловеще,
Для неудачников макает губку в желчь,
Нужда терзает их, свои сжимая клещи.

Теофиль Готье. Сумерки

Не так давно пред нашим судом предстал несчастный, на лбу которого красовалась редкостная и странная татуировка: *Удачи нет!* Таким образом, он носил над бровями клеймо, объясняющее всю его жизнь, как книга носит свое заглавие, и допрос показал, что эта отнюдь не обычная надпись была жестокой правдой. В истории литературы немало подобных судеб, воистину проклятых — есть люди, у которых на лбу, среди глубоко врезанных морщин, таинственными письменами написано слово: *неудачник*. Слепой Ангел Искупления хватает их и неустанно бичует, в назидание всем прочим. И пусть жизнь доказывает, что есть у них и талант, и добродетель, и призвание, что они отмечены благодатью — несмотря на все это, общество предаст их особой, им одним уготованной анафеме и винит их за те недуги, которые само и вызвало своими гонениями. Чего только не делал Гофман, чтобы обезоружить судьбу, и чего только не предпринимал Бальзак, заклиная удачу! Значит, существует все же сатанинское Провидение, уготовляющее злосчастье с колыбели? Провидение, что умышленно забрасывает людей с тонкой душевной организацией, ангельские души, во враждебную для них среду — как бросали христианских мучеников на цирковую арену? Значит, есть все же *святые* души, обещанные храму, обреченные идти к смерти и к славе по развалинам собственной жизни? Вечно ли будет одолевать избранные души кошмар «Сумерек»? Напрасно они противоборствуют, напрасно приноравливаются к свету, к его расчетливости, к его хитростям; они всячески остерегаются, закупоривают все ходы и выходы, закладывают тюфяками окна, защищаясь от случайного выстрела; но Дьявол пролезет к ним и через замочную скважину; совершенство их брони обернется пороком, и превосходство над ближним станет зародышем их будущего осуждения.

Взрыв с черепахою в когтях в простор безбрежный,
Орел роняет груз и темя им крушит —
Все гибелью грозит страдальцам неизбежной.

Ибо они обречены.

Во всем их облике читается Судьба: она сверкает у них в глазах зловещим блеском, руководит их поступками, течет по их артериям с каждым кровавым шариком.

Один прославленный писатель нашего времени написал книгу, где доказывал, что поэту нет достойного места ни в демократическом, ни в аристократическом обществе, и еще менее — при республике, уж скорее при абсолютной или ограниченной монархии. И кто бы сумел убедительно возразить ему? Сегодня, в поддержку его тезиса, я приношу новую легенду, добавляю нового святого к мартирологу мучеников: мне предстоит написать повесть об одном из этих знаменитых неудачников, о человеке, в избытке одаренном поэзией и чувством; он явился вослед многим, ему подобным, чтобы пройти суровую школу гения в этом низменном мире, среди низменных душ.

Какая душераздирающая трагедия — жизнь Эдгара По! И его смерть — страшная развязка, весь ужас которой только усугубляется ее обыденностью. Изо всех прочитанных документов я вынес убеждение, что Соединенные Штаты были для По лишь огромной тюрьмой, в которой он метался, одержимый лихорадочным возбуждением, свойственным тому, кто создан жить и дышать в мире благоуханий, а не в этом великом царстве варваров, в свете газовых рожков, — и его глубинная жизнь, духовная жизнь поэта — пусть даже пьяницы — была лишь неустанным усилием вырваться из невыносимой для него атмосферы. Безжалостна диктатура общественного мнения в демократическом обществе: не молитесь ни о милосердии, ни о прощении, ни о малейшей уступке, если затронуты законы, касающиеся многообразных и сложных случаев морали. Можно подумать, что наша святотатственная любовь к свободе породила новую тиранию — тиранию скотов, или зоократию, кровожадная бесчувственность которой пристала разве что Джаггернаутскому идолу. И некий биограф важно скажет нам — милый человек, а уж благонамеренный! — что если бы По захотел хоть немного упорядочить свой гений и подыскать для своего творческого дара более приемлемое на американской почве воплощение, то он вполне мог бы стать «денежным» автором, а money making author; другой — не сознавая собственного цинизма — скажет, что как

бы ни был велик гений По, но для него самого было бы куда лучше иметь всего лишь талант — поскольку талант всегда оплачивается дороже гения. Еще один, издатель газет и обзрений, друг поэта — признается, что произведения По мало подходили для этих изданий, и приходилось платить ему меньше, чем другим, поскольку стиль его был намного выше заурядного. — «Как пахнет мелочной лавкой!» — говоря словами Жозефа де Местра.

Иные зашли еще дальше, и, сочетая дубовую бездарность со свирепым буржуазным лицемерием, наперебой оскорбляли его; а после неожиданной гибели поэта читали мораль над его трупом, и особенно старался господин Руфус Гризволд, совершив тем самым — если сослаться на клеймящее слово Джорджа Грехэма — бессмертную подлость. Вероятно, предчувствуя свой внезапный конец, По указал в завещании Гризволда и Виллиса, препоручив им привести в порядок его сочинения, написать его биографию и восстановить его доброе имя. Длинно и обстоятельно бесчестил своего друга вампир-учитель в своей чудовишной, пошлой и злобной статье, открывающей посмертное издание сочинений Эдгара По. Так что же, выходит, нет в Америке закона, воспрещающего пускать на кладбище собак? Но что касается господина Виллиса, он, напротив, доказал, что благопристойность и доброжелательность всегда идут рука об руку с истинным разумом и что милосердие к собратьям нашим не только нравственный долг, но и веление вкуса.

Заговорите об Эдгаре По с американцем: возможно, он признает его гений, возможно, даже выкажет гордость по данному поводу; но при этом с язвительным высокомерием практического человека расскажет вам о безалаберной жизни поэта, о его проспиртованном дыхании, готовом загореться от пламени свечи, о его привычках — привычках бродяги; он расскажет вам, что Эдгар По — натура непостоянная, вне всяких правил, планета, сошедшая со своей орбиты, что он непрестанно ездил из Балтимора в Нью-Йорк, из Нью-Йорка — в Филадельфию, из Филадельфии — в Бостон, из Бостона — в Балтимор, из Балтимора — в Ричмонд. И если вы, взволнованные этой предысторией горестных событий, намекнете собеседнику,

что, по всей вероятности, не один поэт был виновен в своих несчастиях и что, должно быть, не так-то легко писать и мыслить в стране, где правят миллионы независимых монархов, в стране, где нет в прямом смысле слова ни столицы, ни аристократии — о, тогда вы увидите, как глаза вашего собеседника, расширяясь, начнут метать молнии, как на губах его вскипит пена уязвленного патриотизма — и вот уже сама Америка его устами изрыгает проклятия Европе, старой своей матушке, и философии былых времен.

Повторяю: у меня сложилось убеждение, что Эдгар По и его отечество существуют на разных уровнях развития. Соединенные Штаты — страна-исполин и в то же время страна-младенец; она, разумеется, завидует Старому Свету. Гордый развитием своей техники, противоестественно могучий, чуть ли не чудовище, этот вторгшийся в историю пришелец простодушно верит во всемогущество промышленности; он совершенно убежден, как и у нас в Европе горстка недоумков, что в конце концов промышленность сожрет и Дьявола. У них так дорого ценятся время и деньги! Практическая деятельность, раздутая до размеров всенародной мании, оставляет в умах слишком мало места для вещей не от мира сего. Кстати сказать, Эдгар По, будучи сам человеком благородного происхождения, проповедовал, что великое несчастье его страны заключается в отсутствии родовой аристократии. «Стоит принять во внимание, — говорил он, — что у народа, не имеющего аристократии, культ Прекрасного обречен на вырождение, измельчание и гибель». И само собой разумеется, что такой человек, который обличал соотечественников за дорогостоящую, вычурную роскошь — верный знак дурного вкуса, свойственного выскочкам; который расценивал Прогресс, эту великую идею современности, как явление, восхищающее одних лишь простофиль; который называл *усовершенствование* человеческих жилищ рубцеванием язв, а новые постройки — отвратительными коробками, — такой человек, надо полагать, был крайне одинок во всем, что касалось его мировоззрения. Он верил исключительно в незыблемое, вечное, *selfsame возвышенное*, и обладал — страшное преимущество в самовлюбленном обществе! — тем великим здравомыслием, в духе Макиавелли, что, по-

добно сияющему столпу, ведет за собой мудреца через пустыню истории. О чем бы подумал, что написал бы он, неудачник, если б услышал проповедницу сострадания, из любви к роду человеческому упраздняющую Ад, или философа от математики, предлагающего систему страхования, или узнал о подписке по одному су с головы на дело прекращения войн, об отмене смертной казни и орфографии — сих двух нелепиц, вполне соотносимых друг с другом! — и сколько еще ненормальных, *прислушиваясь к ветру*, пишут под его диктовку свои флюгерные вымыслы, и все оттого, что их пучит пустая стихия? И если вы к его непогрешимому прозрению истины прибавите неодолимую в иных случаях слабость; и эту острую утонченность чувства, когда фальшивая нота причиняет подлинную боль; и его изысканный вкус, не приемлющий никакого нарушения гармонии; и неутолимую любовь к Прекрасному, которая разрослась до болезненной страсти, — то вы не удивитесь, что для подобного человека жизнь стала адом, и он плохо кончил; скорее вы поразитесь, что он еще сумел так долго *протянуть*.

II

Семья По была одной из самых уважаемых в Балтиморе. Его дед с материнской стороны служил в чине *quarter-master-general* во время войны за Независимость, и Лафайет питал к нему глубокое уважение и дружеские чувства. Во время последнего приезда в Соединенные Штаты он навестил вдову генерала По с тем, чтобы высказать ей, насколько он благодарен ее мужу за оказанные услуги. Прадед Эдгара По женился на дочери английского адмирала Мак Брайда, связанного родством со знатнейшими домами Англии. Дэвид По, отец Эдгара и сын генерала, страстно влюбился в английскую актрису, Элизабет Арнолд, знаменитую своей красотой; он бежал с нею, они обвенчались. Чтобы еще теснее связать с нею свою судьбу, он стал актером и вместе с женой играл во многих театрах, в крупных городах Америки. Супруги умерли в Ричмонде почти одновременно, оставив без помощи, в жесточайшей бедности троих маленьких детей, в том числе Эдгара.

Эдгар По родился в Балтиморе в 1813 году. Дату рождения я привожу с его же слов, поскольку он возразил Гриволду, когда тот назвал годом его рождения 1811. Если чье-либо рождение подчинялось законам романа, по выражению нашего поэта, — то именно обстоятельствами его рождения повелевал романтический дух, зловещий и бурный! Да, Эдгар По — дитя страсти и приключения. Богатый городской купец, мистер Аллан, пленился хорошеньким ребенком, которого природа одарила самыми привлекательными чертами, и, поскольку своих детей у него не было, взял сироту к себе. Отныне мальчик получил имя Эдгара Аллана По. Таким образом, он вырос в достатке и мог иметь законную надежду на состояние, что придает человеку гордую уверенность в себе. Приемные родители взяли его в путешествие по Англии, Шотландии и Ирландии, затем сами воротились на родину, а мальчика оставили у доктора Бренсби, который возглавлял школу в Стокньюингтоне, близ Лондона. В своем «Вильяме Вильсоне» Эдгар По описал этот странный дом, постройку в елизаветинском стиле, и свои школьные впечатления.

Он вернулся в Ричмонд в 1822 году и продолжил занятия на родине, у лучших профессоров. В Шарлотсвилльском университете, куда он поступил в 1825 году, он резко выделялся не только умом, почти неправдоподобным, но также почти губительным кипением страстей — ранняя зрелость, типично американская! — что в конце концов и стало причиной его исключения. Кстати, не лишне отметить, что уже в Шарлотсвиле По обнаружил замечательные способности к физико-математическим наукам. После он часто будет использовать их в своих странных рассказах, получая самый неожиданный эффект. Но у меня есть основания думать, что совсем не этой стороне своих сочинений он придавал самое важное значение и что — вероятно, вследствие того же раннего развития — он смотрел на их научную сторону как на поверхностное трюкачество по сравнению с произведениями, созданными чистым воображением. Какие-то злосчастные карточные долги привели к внезапному разрыву между ним и приемном отцом, и Эдгар — любопытнейший факт, доказывающий, что бы там ни говорили, рыцарственность его впечатлительной

натуры — задумал пойти на войну и биться вместе с эллинами против турок. Итак, он отправился в Грецию. Что он там делал? Изучал ли античные берега Средиземноморья? Почему мы вдруг находим его в Санкт-Петербурге без паспорта, почему он оказался замешан в какие-то темные дела и был вынужден обратиться к американскому послу, Генри Миддлтону, дабы избежать русского суда и вернуться на родину? Об этом нам неизвестно: здесь в его жизни пробел, и заполнить его может только он сам. Жизнь Эдгара По, его юность, приключения в России и переписка уже давно были объявлены в американских газетах, но так и не вышли в свет.

В 1829 году, воротясь в Америку, он изъявил желание поступить в Вест-Пойнтскую военную школу, был принят и, как везде, где бы он ни учился, блистал своим необычайным умом, не признающим никакой дисциплины — отчего и был исключен через несколько месяцев. Тогда же в его приемной семье произошло событие, повлекшее за собой важные для всей его дальнейшей жизни последствия. Госпожа Аллан, к которой он питал истинно сыновнюю привязанность, умерла, и господин Аллан женился на молодой женщине. Произошла домашняя ссора — история странная и непонятная, ничего не могу о ней сказать, поскольку ни один биограф не может ее объяснить. Так что не приходится удивляться, что Эдгар По окончательно разошелся с господином Алланом, и тот, имея детей от второй жены, полностью исключил приемыша из своего завещания.

Вскоре после того как Эдгар По оставил Ричмонд, он издал томик стихов; то был поистине ослепительный восход нового светила. Для того, кто умеет чувствовать английскую поэзию, в его стихах сквозило нечто внеземное — умиротворение в самой печали, чудная величавость и ранний опыт — думаю, точнее было бы назвать его *врожденным* опытом — словом, в его стихах были все признаки, присущие стихам великих поэтов.

На недолгий срок нищета сделала его солдатом, и вполне вероятно, что во время тягостных досугов гарнизонной службы он накапливал темы своих будущих сочинений — таких странных, созданных, казалось, исключительно ради

нашего убеждения в том, что странность — одна из непременных частей, составляющих прекрасное. Воротясь к литературной жизни — единственной стихии, в которой только и может дышать избранная душа из среды деклассированных, — По умирал в невообразимой нищете, когда счастливый случай помог ему подняться. Владелец одного журнала учредил две премии: одну — за лучший рассказ, другую — за лучшее стихотворение. Чей-то исключительно прекрасный почерк привлек внимание господина Кеннеди, председателя жюри, и ему захотелось самому прочесть эту рукопись. Случилось так, что обе премии присудили Эдгару По; но выплатили только одну. Председатель жюри захотел увидеть незнакомца. Издатель газеты привел к нему юношу поразительной красоты, в потрепанном платье, застегнутом до самого подбородка; тем не менее, тот держался джентльменом — гордым, хотя и голодным. Кеннеди повел себя благородно. Он познакомил По с Томасом Уайтом, основавшим в Ричмонде журнал «Южный литературный вестник». Уайт был предприимчив, но не имел никакого литературного таланта: ему требовался помощник. Таким образом, Эдгар По, будучи еще очень юным — в двадцать два года — стал редактором журнала, судьба которого всецело зависела от него. Процветание журнала — прямая заслуга По. Впоследствии «Южному литературному вестнику» пришлось признать, что именно этому треклятому чудаку, этому неисправимому забулдыге он обязан увеличением числа подписчиков и прибыльным успехом. Именно в этом журнале впервые появились «Несравненное приключение некоего Ганса Пфааля» и многие другие рассказы, с которыми предстоит познакомиться нашим читателям. Почти два года Эдгар По, трудясь с необычайным рвением, удивлял читателей сочинениями, написанными в совершенно новом жанре, и критическими статьями, словно заведомо созданными для привлечения взоров своею живостью, ясностью и обоснованной строгостью оценок. Это были рецензии на книги всех жанров, и здесь серьезное образование молодого редактора оказалось отнюдь не лишним. Следует знать, что за этот немалый труд платили пятьсот долларов, то есть две тысячи семьсот франков в год. «Незамедлительно, — говорит Гризволд (сле-

дует понимать: «Богачом вообразил себя, дурак этакий!»), — он женился на юной девушке, прекрасной, очаровательной, самоотверженной и доброй от природы, но — *не имеющей ни гроша за душой*», — презрительно добавляет он. То была Виржиния Клемм, кузина поэта.

Несмотря на услуги, оказанные Эдгаром По журналу, не прошло и двух лет, как господин Уайт порвал со своим редактором. Причина разрыва, очевидно, кроется в приступах ипохондрии и в запоях поэта — к сожалению, эти недуги были свойственны По и омрачали его разум — так темные тучи придают самому романтическому пейзажу характер неизгладимой скорби. Отныне мы видим, как этот неудачник раскидывает свой шатер то здесь, то там, подобно кочевнику в пустыне, переправляя своих легковесных пенатов из одного крупного города Штатов в другой. И везде он то возглавляет журналы, то блистательно сотрудничает в них. С поразительной быстротой расходятся его критические и философские статьи, его волшебные рассказы, собранные под заглавием «Гротески и арабески», — титул примечательный и оправданный, ибо гротескные узоры и арабески исключают портретное изображение человеческого лица, и таким образом становится ясно, что творчество По прежде всего вне- и надчеловеческое. Из оскорбительных и скандальных газетных сообщений мы скоро узнаем, что Эдгар По и его жена очутились в Фордхэме, оба опасно больные и в полной нищете. После смерти жены он испытал первые приступы белой горячки. Неожиданно в газете появляется новое сообщение — более чем беспощадное — обвиняющее его в презрении к людям и в отвращении к миру: это свидетельствует, что о нем судили, приписывая ему характер его персонажей — да, именно таков был приговор общественного мнения, с которым он сражался всю свою жизнь, и это одна из самых безнадежных, самих изнурительных битв, какие я только знаю.

Разумеется, он зарабатывал деньги, и литературный труд хоть как-то кормил его. Но у меня есть доказательства, что ему без конца приходилось преодолевать всевозможные препятствия, и это отбивало охоту писать. Он, подобно многим писателям, мечтал о собственном журнале, ему

хотелось быть у себя дома, ведь он выстрадал немало, прежде чем страстно возжелал надежного пристанища для своей мысли. Чтобы раздобыть необходимую для этого сумму денег, он прибегал к *чтениям*. Всем известно, что такое эти *чтения*: своего рода спекуляция, Коллеж де Франс, предоставленный в распоряжение всех литераторов, притом автор может опубликовать свои чтения лишь после того, как извлечет из них все возможные доходы. По уже выступал в Нью-Йорке с чтением «Эврики», своей космогонической поэмы, вызвавшей множество споров. На сей раз он решил провести *чтения* у себя на родине, в Виргинии. Он предполагал, как писал Виллису, совершить турне по Западу и Югу, надеясь на поддержку своих друзей-литераторов и бывших однокашников по колледжу и Вест-Пойнту. Таким образом, он посетил главные города Виргинии, и Ричмонд вновь узрел того, кого знал прежде столь юным, столь бедным, столь оборванным. Все, кто не видал Эдгара По со времен его безвестности, теперь толпой сбегались посмотреть на своего знаменитого земляка. И он предстал перед ними — прекрасный, изысканно одетый, приличный — словом, гений. Полагаю даже, что на какое-то время он настолько к ним снизошел, что соизволил вступить в общество трезвости. Для *чтений* он выбрал тему столь же широкую, сколь возвышенную: «Поэтический принцип», и развил ее с присущей ему ясностью ума. Будучи истинным поэтом, он полагал, что цель поэзии и ее принцип — явления одной природы, и что поэзия не должна иметь в виду ничего иного, кроме себя самой.

Прекрасный прием, оказанный поэту, исполнил его бедное сердце гордостью и радостью; он был настолько очарован, что даже говорил о своем желании поселиться в Ричмонде и окончить свои дни в краю, любимом с детства. Но в Нью-Йорке его ждали дела, и он отправился туда четвертого октября, жалуясь на лихорадку и слабость. Приехав в Балтимор шестого вечером и по-прежнему чувствуя недомогание, он велел снести свой багаж на платформу, с которой должен был отправиться в Филадельфию, а сам зашел в кабачок — подкрепиться чем-либо горячительным. К несчастью, там он встретил старых знакомых и задержал-

ся. На рассвете, в бледном полумраке, на дороге было найдено тело — так, кажется, принято говорить в таких случаях? — нет, он еще жил, но Смерть уже отметила его своею царственной печатью. На теле неизвестного не нашли ни бумаг, ни денег и отнесли его в больницу. Там и скончался в тот же вечер Эдгар По, в воскресенье седьмого октября 1849 года, в возрасте тридцати семи лет, сраженный *delirium tremens*, белой горячкой, — ужасной гостьей, уже посещавшей его мозг раз или два. Так оставил наш мир величайший в истории литературы герой, гениальный человек, написавший в своем «Черном коте» пророческие слова: «Какую болезнь можно сравнить с алкоголизмом!»

Его смерть — почти самоубийство, да, заранее подготовленное самоубийство. И, разумеется, она послужила причиной скандала. Вопль поднялся великий, и *Добродетель*, в самом разнузданном сладострастии, дала полную волю своему высокопарному *ханжеству*. Самые терпимые заупокойные молитвы не обошлись без неизбежных буржуазных нравоучений — уж как тут было упустить такой подходящий случай! Господин Гризволд клеветал; господин Виллис, искренне огорченный, был хотя бы благопристоен. Увы, тот, кто преодолел самые неприступные вершины эстетики и спустился в самые неизведанные бездны человеческого разума, тот, кто в течение всей своей жизни, похожей на непрерывную бурю, находил все новые средства и свежие приемы для того, чтобы изумлять воображение и пленять умы, устремленные к Прекрасному, — скончался после мучительных часов агонии на больничной койке — какая судьба! Столько величия и горя — и всего лишь для того, чтобы вызвать вихрь буржуазного пустословия и пойти на прокорм добродетельным газетчикам, одарив их неисчерпаемой темой!

Ut declamatio fias!

Подобные спектакли не новы; к свежей могиле прославленного человека слетаются все скандальные слухи. Впрочем, общество не любит неисправимых неудачников — то ли они омрачают ему праздники, то ли оно, глядя на них, испытывает невольные угрызения совести, при всем своем простодушии видя в них живой укор, и в этом оно, бесспорно, право. Кто не помнит парижской гово-

рильни по поводу смерти Бальзака — а ведь он умер вполне благопристойно! А совсем недавно — сегодня, двадцать шестого января тому как раз исполняется год, — наш писатель, человек безукоризненно порядочный, возвышенный ум, *всегда прозорливый*, скромно, никому не причинив беспокойства, — настолько скромно, что сама эта скромность походила на презрение — на самой грязной улице, какую только смог найти, отрешил свою душу от жизни — какое страшное назидание! какое утонченное убийство! Один знаменитый журналист, которого сам Иисус не научил бы великодушию, нашел этот случай достаточно веселым, чтобы почтить его грубым каламбуром. В длинный список *прав человека*, которые так любит перечислять мудрость XIX столетия, забыли внести два довольно важных пункта: право противоречить самому себе и право *уйти*. Но общество рассматривает того, кто уходит по своей воле, как великого наглеца; оно охотно покарало бы иных покойников — как тот несчастный солдат, страдающий манией вампиризма, — при виде трупа оно приходит в безумное исступление. И все же можно утверждать, что под давлением определенных обстоятельств, при определенной несовместности человека с миром, если к тому же иметь твердую веру в определенные догмы и в переселение душ, самоубийство может оказаться самым благоразумным поступком в жизни. Так возникает союз призраков, уже довольно многочисленных, они привычно являются нам, и каждый из них восхваляет свой нынешний покой и манит последовать его примеру.

Признаемся все же, что в откликах на скорбную кончину творца «Эврики» было и несколько утешительных исключений, иначе можно было бы впасть в отчаяние и бой оказался бы проигранным. Как я уже говорил, господин Виллис правдиво и даже с чувством рассказал о добрых отношениях, которые всегда связывали его с Эдгаром По. Господа Джон Вейл и Джордж Грехэм воззвали к совести господина Гризволда. Господин Лонгфелло — и его заслуга тем более велика, что сам Эдгар По отозвался о его творениях чрезвычайно сурово, — сумел найти слова, достойные поэта, чтобы восхвалить высокое мастерство Эдгара По как в стихах, так и в прозе. Некто неизвестный на-

писал, что литературная Америка потеряла самую умную голову.

Но разбито, истерзано и пронзено семью мечами было лишь сердце госпожи Клемм. Эдгар был для нее всем — и дочерью, и сыном. «Жестока была судьба, — говорит Виллис, у которого я почти дословно заимствую эти подробности, — жестока была судьба того, кого опекала и хранила эта женщина!» Ибо Эдгар По был тяжкой обузой; не говоря уже о том, что писал он «скучно и неудобопонятно», да к тому же «в стиле, слишком возвышающимся над средним умственным уровнем, чтобы ему можно было хорошо платить», он еще вечно увязал в денежных затруднениях, и часто у него и его больной жены не было самого необходимого. Однажды в кабинет к Виллису вошла старая, кроткая и степенная женщина. То была госпожа Клемм. Она *искала работы* для своего дорогого Эдгара. Биограф рассказывает, что он был искренне взволнован, и не только ее горячей похвалой талантам сына и верной их оценкой, но и самим ее обликом — тихим, печальным голосом, прекрасными и величественными, хотя и слегка старомодными манерами. «Еще много лет, — добавляет он, — видели мы, как сия неутомимая служительница гения, бедно и скудно одетая, ходила из одной газетной редакции в другую, пытаясь продать статью или стихотворение; иногда она говорила, что он болен, — единственное объяснение, единственная причина, неизменное извинение за сына, когда его внезапно настигал период бесплодия, знакомый всем писателям с чувствительными нервами, — но никогда не позволяла она своим устам проронить ни звука, который можно было бы истолковать как сомнение в любимом сыне или как уменьшение ее веры в его гений и добросовестность. Когда ее дочь умерла, она привязалась к нему, уцелевшему в гибельной битве, с удвоенным пылом материнской нежности, она делила с ним кров, заботилась о нем, ходила за ним, защищала его от жизни и от самого себя. Нет ни малейшего сомнения, — заключил Виллис со всею своею высокой и беспристрастной правотой, — что если преданность женщины, рожденная первой любовью и питаемая человеческой страстью, прославляет и освящает предмет этой любви, то сколько добрых слов заслуживает

тот, кто *внушил* чувство, подобное чувству госпожи Клемм — чистое, бескорыстное, святое, как любовь ангела-хранителя? Клеветники Эдгара По могли бы понять, что неотразимые чары, которыми он обладал от природы, не могли быть ничем иным как добродетелями».

Мы угадываем, сколь ужасна для бедной женщины была весть о его смерти. Она написала Виллису письмо. Вот несколько строк из него:

«В это утро я узнала о смерти моего дорогого Эдди... Не могли бы вы сообщить мне хоть какие-нибудь подробности, мелочи?.. Ах, не покидайте вашего несчастного друга в столь горьком несчастье... Скажите М., чтобы он зашел ко мне: у меня есть поручение к нему от моего бедного Эдди... Нет нужды просить вас о том, чтобы вы поместили извещение о его смерти и говорили бы о нем только хорошее. Знаю, что так вы и поступите. *Но непременно скажите и о том, каким любящим сыном был он для меня, безутешной матери!..*»

Эта женщина кажется мне более великой, чем героини античности. Сраженная непоправимым горем, она только и думает о добром имени того, кто был для нее всем, ей было мало, что его величают гением, — ей еще было нужно, чтобы все знали: он был человеком долга и обладал любящим сердцем. Нет сомнения, что эта идеальная мать — очаг и светоч, зажженные от чистейшего небесного луча, была ниспослана свыше, дабы послужить живым примером для наших народов, слишком мало пекущихся о преданности, героическом самоотвержении и обо всем прочем, что превышает обычного долга. И разве не было бы справедливо, если бы на творениях поэта написали имя той, что сияла над его жизнью духовным солнцем. Своей славой он увековечит имя женщины, чья нежность умела врачевать его раны, и образ ее всегда будет витать над перечнем мучеников от литературы.

III

Жизнь Эдгара По, его привычки, манеры, внешность — словом, все, из чего складывается его личность, — предстают пред нами как нечто сумрачное и в то же время осле-

питательное. Это фигура странная, влекущая к себе и, подобно его творениям, отмеченная неизъяснимой печатью грусти. Одарен он был слишком щедро и разносторонне. В юности он выказал редкую способность к физическим упражнениям, и при невысоком росте, с маленькими, женскими руками и ногами — да и все в нем было почти женственным, — он не раз доказывал свою незаурядную силу. Так, в юности он выиграл пари, проплыв такое большое расстояние, что это кажется неправдоподобным. Можно подумать, что Природа намеренно наделяет могучим темпераментом тех, от кого ожидает многого — подобно тому, как дает жизнестойкость деревьям, символизирующим скорбь и смерть. Эти люди, даже если на вид они кажутся хрупкими, сотворены по мерке атлетов, они равно годны и для пиров, и для трудов; они то ни в чем не знают удержу, то способны на удивительную воздержанность.

Есть несколько мнений, касающихся Эдгара По, с которыми все соглашались единодушно, например, его врожденная незаурядность, его красноречие и красота, которой, как говорят, он чуть-чуть гордился. Его манеры — странная смесь надменности и трогательной нежности — отличались уверенностью. Лицо, движения, жесты, посадка головы — все говорило о том, особенно в его добрые дни, что это натура избранная. Весь его облик источал проникновенную торжественность. Он и в самом деле был отмечен Природой — такие люди даже в толпе невольно останавливают наблюдательный взгляд и занимают ум. Даже сам желчный педант Гризволд признается, что когда он навестил По — бледного, еще не оправившегося после болезни и смерти жены, — то был чрезвычайно поражен не только безукоризненностью манер поэта, но и его аристократической внешностью, и благоуханным воздухом его жилища, впрочем, довольно скромно обставленного. Гризволду не дано знать, что поэт в большей мере, чем любой другой, владеет чудесной привилегией, приписываемой парижанкам и испанкам, — он умеет украсить себя пустяком, а посему Эдгар По сумел бы даже лачугу преобразить во дворец, подобного которому еще никто не видывал. Разве не описывал он в самом увлекательном и оригинальном

духе убранство и расположение сельских домов и садов, и преобразенные искусством пейзажи?

Существует прелестное письмо госпожи Френсис Осгуд, одной из друзей По, где она сообщает нам любопытнейшие подробности о его привычках, характере и семейной жизни. Эта женщина, будучи сама писательницей, смело отрицает все пороки и проступки, в которых упрекали поэта.

«С мужчинами, — возражает она Гризволду, — он, вероятно, и был таким, как вы расписываете, и с точки зрения мужчины вы, может быть, и правы. Но я утверждаю, что с дамами он был совершенно иным, и ни одна знакомая господина По не могла не принимать в нем живейшего участия. Я всегда видела в нем образец изящества, предупредительности и благородства...

Впервые мы встретились в «Астор-Хаузе». Виллис передал мне за табльдотом «Ворона», о котором автор, сказал он, желал бы узнать мое мнение. Таинственная, неземная музыка этого странного стихотворения пронзила мою душу так глубоко, что когда я узнала о желании По представиться мне, я испытала неизъяснимое ощущение, близкое к ужасу. И он явился — прекрасная, гордая голова, темные глаза, излучающие свет избранности, свет чувства и мысли; была в его манерах непередаваемая смесь высокомерия и нежности; он поклонился мне — сдержанно, строго, почти холодно, но под этой холодностью трепетала столь явная симпатия, что невольно я прониклась глубоким волнением. С того мгновения и до самой его смерти мы оставались друзьями... и я знаю, что он в своих последних словах вспомнил обо мне, покуда его царственный разум еще не был свергнут со своего трона, и дал мне последнее доказательство своей дружбы.

Но наилучшим образом проявился характер По среди семьи, в его простом и в то же время поэтичном доме. Резвый, любящий, остроумный, порой уступчивый, а порой и недобрый, словно избалованное дитя, он всегда находил для своей юной, нежной и обожаемой жены, а также для всех, кто приходил к нему, будь то даже в разгаре изнурительного литературного труда, и приветливое слово, и

добрую улыбку, и другие деликатные знаки внимания. Бесконечные часы проводил он за столом, под портретом своей *Линор*, умершей возлюбленной, и всегда сосредоточенный, всегда целеустремленный, запечатлевал своим прекрасным почерком блестящие фантазии, вспыхивающие в его удивительном, вечно бодрствующем мозгу. Вспоминаю, как однажды утром я увидела его более веселым и оживленным, чем обычно. *Виргиния*, его кроткая жена, просила меня зайти, и я не могла противиться ее просьбам... Я застала его за работой над циклом статей, впоследствии опубликованных под общим названием «*The literati of New York*». «Видите, — сказал он мне, с торжествующим смехом скручивая в свитки многочисленные бумажные полосы (он обычно писал на таких узких полосах бумаги, разумеется, затем, чтобы они *в точности соответствовали* газетным столбцам), — вот сейчас я вам наглядно, исходя из длины свитков, покажу, насколько я ценю каждого члена вашей литературной братии. В каждой такой полоске один из вас скручен в бараний рог и досконально разобран. Подите сюда, *Виргиния*, и помогите мне!» И они вдвоем стали поочередно раскручивать каждый свиток. *Виргиния*, смеясь, отступала в угол, держа бумажную полоску за один конец, а ее муж, раскручивая свиток, пятился в противоположный угол. «И кто же этот счастливец, — спросила я, — кого вы сочли достойным столь непомерно длинной похвалы?» — «Да вы только послушайте ее! — вскричал он, — можно подумать, будто ее тщеславное сердечко еще не подсказало ей, что это она сама и есть!»

Когда мне пришлось уехать на лечение, я поддерживала с *Эдгаром По* регулярную переписку, уступая настояниям его жены, полагавшей, что я могу оказать на него благотворное влияние... Ну а что касается любви и полного доверия между *Эдгаром По* и его женой, которыми я так восхищалась, то как бы горячо и убедительно я ни рассказывала об этом, не в моих силах дать полное представление об их отношениях. Не буду говорить о поверхностных поэтических увлечениях, в которые порой его втягивал романтический строй его души. Думаю, что *Виргиния* была единственной женщиной, которую он любил истинно и постоянно...»

В новеллах По нет речи о любви. По крайней мере, «Лигейя» и «Элеонора» не являются любовными историями в собственном смысле слова — главная мысль, от которой раскручивается действие, совсем иная. Возможно, он полагал, что язык прозы не достигает высот этого капризного, почти неизъяснимого чувства, поскольку стихи его, напротив, в высшей мере насыщены им. Божественная страсть является в них блистательной, звездной и всегда отуманенной неисцелимой печалью. Порою он говорит о любви в своих статьях — говорит о ней как о предмете, самое имя которого заставляет его перо трепетать. В «Поместье Арнгейм» он станет утверждать, что необходимые для счастья четыре первичных условия таковы: жизнь на вольном воздухе, *любовь к женщине*, отказ от какого бы то ни было честолюбия и сотворение новой Красоты. Мысль госпожи Френсис Осгуд о рыцарственном отношении Эдгара По к женщинам более всего подтверждается тем, что во всем его творчестве, несмотря на одаренность в изображении гротеска и ужаса, нельзя найти ни единого эпизода, где был бы намек на похоть или хотя бы упоминались чувственные наслаждения. Можно сказать, что его женские портреты окружены ореолом: они сияют в средоточии неземных туманов и написаны восторженной кистью поклонника. Что же до «поверхностных поэтических увлечений», то стоит ли удивляться, что такая нервная натура, основная черта которой — стремление к Красоте, способна порою со всем страстным пылом возвращать влюбленность — этот неистовый и благоуханный цветок, для которого бурное воображение поэта — самая подходящая почва?

О его удивительной красоте, упоминаемой многими биографами, можно, я думаю, составить себе приблизительное понятие с помощью тех смутных, но все же характерных оттенков смысла, которые составляют значение слова *романтический*, — оно относится главным образом к разновидности красоты, вся сила которой — в выразительности. В Эдгаре По прежде всего привлекал внимание огромный лоб, выпуклости которого выдавали бьющую через край одаренность в той сфере, которую они представ-

ляли — в сфере точных наук, анализа, причинных связей, — но надо всем парило в горделивом спокойствии чувство идеального — эстетическое чувство. И тем не менее, несмотря на эти дары, а может быть, именно вследствие их чрезмерности, голова его, если смотреть в профиль, вряд ли была красива. Так обычно бывает, когда дух преобладает надо всем: нехватка может проистекать от избытка, а скудость в одном — от избытка в другом. У него были большие глаза, и темные, и полные света, с неуловимым оттенком, близким к фиолетовому; крупный, благородно очерченный нос, печальные тонкие губы, порою беглая улыбка, светлый загар, как бы рассеянное выражение обычно бледного лица с едва намеченной тенью привычной печали.

Разговор его был замечательно интересным и насыщенным. По не был, что называется, краснобаем — это было бы ужасно — да впрочем, банальностей он не выносил ни в словах, ни на бумаге; но обширность его знаний, могучая выразительность языка, глубина исследований, своеобразие впечатлений, почерпнутых им во многих странах, делали его речь бесценным уроком. Его красноречие, поэтическое по сути, но логично развивающее мысль и все же выходящее за пределы любой из нам известных логических систем; совокупность образов, взятых им из того мира, куда редко вторгается большинство заурядных умов; необычайное умение выводить из очевидных и всеми приемлемых положений таинственные и совершенно новые умозаключения, открывать удивительные перспективы; словом — искусство восхищать и пробуждать в собеседнике мысль, мечту, вырывать души человеческие из заплесневелой косности, — таковы были ослепительные дары, о которых многие сохранили воспоминание. Но порою случилось — так, по крайней мере, утверждают, — что поэт, повинувшись разрушительной прихоти, внезапно сбрасывал своих друзей с небес на землю какой-нибудь удручающе цинической выходкой, безжалостно уничтожая создание своего духа. Следует особо отметить, что он был не слишком-то разборчив в выборе собеседников, но думаю, что читатель без труда найдет в истории немало великих, своеобразных умов, для которых любая компания была хоро-

ша. Иные души, одинокие среди толпы, находят уладу в монологе, и что им общественное благоприличие! Словом, это своего рода братское чувство, замешанное на презрении.

Следует все же сказать несколько слов о его так называемом пьянстве, заслужившем скандальную славу и столько упреков, что невольно приходишь к мысли, будто все писатели Соединенных Штатов, за исключением одного По, — ангелы трезвенности. Многие версии правдоподобны, и ни одна не исключает другую. Прежде всего я обязан отметить, что Виллис и госпожа Осгуд утверждают оба, будто довольно было даже капли вина или ликера, чтобы выбить По из колеи. Впрочем, нетрудно представить, отчего этот поистине одинокий, поистине глубоко несчастный человек, которому, вероятно, любое общественное устройство казалось нелепостью и ложью, этот человек, гонимый безжалостной судьбою, столь часто повторял, что общество — всего лишь скопище несчастных (Гризволд приводит эти слова По со всем негодованием, на какое только способен человек, сам будучи втайне того же мнения, но с тою разницей, что уж он-то никогда не выскажет его вслух), а потому, говорю я, вполне естественно предположить, что поэт, с детства предоставленный самому себе и привыкший изнушать свой мозг в постоянном упорном труде, искал порою блаженного забытья в бутылке. Литературные дразги, головокружительный полет в бесконечность, семейные горести, унижения нищеты — ото всех этих неурядиц он бежал в черный мрак пьянства, словно в заранее уготованную могилу. Но, каким бы приемлемым ни казалось это объяснение, я не считаю его всеобъемлющим и готов опровергнуть самого себя, поскольку оно кажется обидно упрощенным.

Я узнал, что пил он не как тонкий ценитель вин, но как варвар — торопливо, истинно по-американски экономя время, пил самоубийственно, словно было в нем *ничто*, подлежащее истреблению, а *worm that would not die*. Рассказывают, что, собираясь вновь жениться (уже было дано объявление о браке, но когда его поздравляли со вступлением в союз, суливший ему высокое положение, богатство и счастье, он сказал: «Возможно, что вы и вправду читали объявление, но зарубите себе на носу: я не женюсь!»), он

отправился, мертвецки пьяный, к соседям своей невесты, повергнув их в негодование — то есть прибегнул к своему пороку как к крайнему средству, лишь бы не оскорбить клятвы, которую он дал умершей, чей образ, так чудесно воспетый им в «Аннабел Ли», всегда жил в его сердце. И в большей части случаев, когда он предавался пьянству, я вижу драгоценный факт предумышленности, доказанный и подтвержденный.

С другой стороны, я читаю в пространной статье «Южного литературного вестника» — того самого журнала, процветанию которого он положил начало — что от этой страшной привычки никогда не страдали ни чистота и завершенность его стиля, ни ясность мысли, ни приверженность к труду; что запой предшествовал созданию большей части его великолепных произведений либо следовал за ними; что после выхода в свет «Эврики» он, к сожалению, вновь предался своей пагубной склонности и что в Нью-Йорке, в то самое утро, когда вышел в свет «Ворон», в тот самый час, когда имя поэта было у всех на устах, — он, неприлично шатаясь, плелся по Бродвею. Обратите внимание, что слова «предшествовал либо следовал» как раз и указывают на то, что опьянение было для поэта либо побудительным, либо успокоительным средством.

Итак, совершенно неоспоримо, что за беглыми и яркими впечатлениями, тем более беглыми и яркими, чем чаще они повторяются, причем их появлению предшествует сигнал, своего рода предупреждение (будь то удар колокола, музыкальная нота или забытый аромат), неизбежно следует событие, аналогичное другому, изначально знакомому и занимающему свое место в цепи таких же, ранее явленных событий, похожих на странные, повторяющиеся сны; и совершенно неоспоримо, что есть в опьянении не только вереница сновидений, но и логическая связь умозаключений, для возрождения которых необходима та же самая питательная среда, что впервые вызвала их к жизни.

Если читателю не надоело следовать за ходом моих рассуждений, он, вероятно, уже угадал, к какому я пришел выводу: думаю, что по большей части — но, разумеется, не всегда — пьянство Эдгара По служило ему мнемоническим

средством, методом его работы — методом сильнодействующим и пагубным для него, но соответствующим его страстной натуре. Поэт приучился пить, как иной добросовестный литератор приучается вести систематические записи. Он не умел противиться желанию вновь обрести свои чудесные или страшные видения, утонченные замыслы, явленные ему в промчавшейся буре; эти мечты, его давние знакомые, властно притягивали его, и ради встречи с ними он выбирал самый опасный — кратчайший путь. И можно сказать, что творчество, которым мы сегодня наслаждаемся, убило его.

IV

О произведениях этого удивительного гения я могу сказать очень мало; читатель сам даст понять, что он о них думает. Хотя это было бы для меня нелегким делом, но все же, вероятно, я сумел бы разобраться в его методе и объяснить его приемы — особенно в тех произведениях, где главный эффект основан на тщательно разработанном анализе. Я мог бы посвятить читателя в тайны их сотворения и долго распространяться о том, как американский гений заставляет его, читателя, радоваться одоленному препятствию, разрешенной загадке, ловкому ходу, — словом, вызывает его на игру, которой тот наслаждается, увлекаясь, как ребенок, с почти извращенным восторгом погружаясь в мир возможностей и предположений, в мир *уток*, которому утонченное мастерство сообщало полное правдоподобие. Никто не станет отрицать, что По — непревзойденный фокусник, но я знаю, что сам он предпочитал другой род своих творений. Я хотел бы привести более важные замечания, впрочем, весьма краткие.

Однако известность ему принесли не эти вещественные чудеса — нет, он завоевал восхищение всех мыслящих людей своею любовью к Прекрасному, своим проникновением в законы гармонии, без которых нет Красоты; своей поэзией, глубокой и печальной, но тончайшей выделки, прозрачной и точной, словно оправленный кристалл; своим восхитительным стилем, чистым, своеобразным и сжатым, словно кольчужные звенья, стилем послушным и до-

тошным, в котором все неприметно направляет читателя к цели; и, наконец, прежде всего своим особым даром, неповторимым характером, позволяющим живописать и объяснить в непогрешимой, потрясающей, повергающей в ужас манере *случаи, исключительные с точки зрения нравственности*. Дидро, один на сотню — писатель-сангвиник; Эдгар По — пишет нервами, и даже, вероятно, чем-то, что выше нервов: он лучший из всех, кого я знаю.

Разработка темы у Эдгара По всегда начинается невольным затягиванием в нее читателя — условно попадаешь в водоворот. Его торжественность поражает ум и держит его в напряжении. Сразу чувствуешь, что речь идет об очень важном. И постепенно, неспешно развивается история, интерес которой основан на неприметном умственном отклонении, на дерзкой гипотезе, на просчете Природы в распределении качеств, образующих человеческую личность. Увлеченный читатель вынужден пройти вместе с автором захватывающую последовательность его умозаключений.

Повторяю, ни один человек не сумел еще рассказать с таким поистине колдовским искусством *об исключительных явлениях* в человеческой жизни и в природе, будь-то: жгучее любопытство выздоравливающего; времена года на переломе, отягощенные раздражающим великолепием; знойная пора, туманная и влажная, когда южный ветер до предела натягивает нервы, словно струны музыкального инструмента, а глаза полнятся слезами, но источник их не в сердце; галлюцинация, вначале оставляющая место сомнению, вскоре убеждает в своей реальности и резонирует, словно книга, — абсурд воцаряется в уме и правит им с угасающей логикой, — истерия вытесняет волю, между нервами и разумом полный разлад, и человек даже боль свою выражает смехом. По анализирует неосязаемое, взвешивает невесомое и в своей обстоятельной, научной манере, наводящей ужас, описывает все то воображаемое, что витает вокруг человека с больными нервами и неизбежно приводит его к недоброму.

Само рвение, с которым он бросается в гротеск — из любви к гротеску и в страшное — из любви к страшному, убеждает меня в искренности его творчества, то есть в гар-

маничном согласии человека и поэта. Я уже отмечал, что у многих подобное рвение является следствием бурных, но не нашедших приложения жизненных сил, или упорства в целомудрии, или подавления чувственных порывов. Противоестественное наслаждение, которое порою испытывает человек при виде собственной текущей крови, неожиданные поступки, бурные и неоправданные, произвольный вскрик, когда голосовые связки выходят из-под власти разума, — все это явления одного порядка.

В лоне созданной им литературы дышишь разреженным воздухом, и разум ощущает порой ту смутную тревогу, тот страх, скорый на слезы, то стеснение в сердце, что посещают нас в местах величественных и странных. Но тем сильнее восторг, и только дивишься великому искусству! Как главные, так и незначительные подробности подчинены внутреннему миру персонажей. Одиночество в природе или городская толчея — все описано выразительно, с невероятной щедростью выдумки. Подобно нашему Эжену Делакура, вознесшему свое искусство до вершин великой поэзии, Эдгар По любит, чтобы его герои двигались в лиловато-зеленоватом пространстве, где фосфоресцирует пададь и пахнет грозой. Так называемая неодоушевленная природа взаимодействует с природой живых созданий и, подобно им, содрогается гальваническим трепетом под дыханием запредельного. Опиум раздвигает пространство; опиум сообщает магическую подоплеку всем оттенкам, заставляет все звуки вибрировать с наполненной смыслом звучностью. И в этих пейзажах внезапно раскрываются великолепные прорывы, глотки света и красок; и мы видим, как из глубины новых горизонтов восстают восточные города и кровли, затуманенные дымкой дали, сквозь которое золотыми ливнями проливается солнце.

Персонажи Эдгара По, а вернее, его единственный персонаж — человек с необычайно обостренными способностями, с издерганными нервами, человек с пылкой и упорной волей, бросающий вызов любым препятствиям; его взгляд вонзается в предметы с остротой и твердостью клинка, и предметы странно увеличиваются оттого, что он смотрит на них; этот человек — сам Эдгар По. И все его женщины, умирающие от таинственных недуг, ослепи-

тельные и болезненные, женщины, в чьих голосах звучит музыка — это снова он; во всяком случае, они и своими странными устремлениями, и своими познаниями, и своей неизлечимой печалью сильно напоминают своего создателя. Что же касается его идеальной женщины, его Титаниды, она является нам в разных обликах, рассеянных по его — к сожалению, малочисленным! — стихотворениям, но то не портреты, а прием, позволяющий прочувствовать красоту, которую своеобразный талант автора собирает, соединяя в неясное, но осязаемое единство, где и живет, может быть, более призрачно, чем во внешнем мире, его неутолимая любовь к Прекрасному: в этом и есть его великое предназначение, высший смысл всех его достоинств, вызывающих любовь и преклонение поэтов.

Под названием «Необычайные истории» мы объединили различные рассказы, вошедшие в собрание сочинений По. Эти сочинения включают немало количество новелл, не меньшее число критических и других статей, философскую поэму «Эврика», стихотворения и поистине человеческий роман («Приключения Артура Гордона Пима»). Если, надеюсь, мне представится новый случай поговорить о поэте, я займусь анализом его философских и литературных воззрений, а также прочих его произведений, полный перевод которых вряд ли имеет шансы на успех у публики, ждущей от книг только развлекательности да описания чувств, а не важных философских истин.



ПРЕДИСЛОВИЕ К «БЕРЕНИКЕ»

(«Иллюстрасьон», 17 апреля 1852 г.)

Рассказ, предлагаемый нами читателю, взят из произведений Эдгара По. Он относится к началу его литературной деятельности. Эдгар По, которого по праву можно назвать выдающимся умом Соединенных Штатов, умер в 1849 году, в возрасте 37 лет. Умер, можно сказать, под забором: однажды утром его подобрали на улице и отнесли в Балтиморскую больницу; подобно Гофману, Бальзаку и многим другим, он расстался с жизнью именно в тот миг, когда уже мог бы противостоять своей суровой судьбе. И, справедливости ради, безусловно следует отнести часть его прегрешений, и в особенности грех пьянства, на счет того беспощадного общества, куда его забросило Провидение.

Когда Эдгар По бывал счастлив или хотя бы спокоен, нельзя было представить себе человека приветливей и обаятельней его. Этот странный, мятежный писатель не имел в жизни иного утешения, кроме ангельской преданности мистрис Клемм, матери его жены — да воздадут ей по праву свою благодарность все одинокие души.

Эдгар По — не только поэт, не только писатель: он и поэт, и писатель, и философ. В нем ясновидец сочетается с ученым. Если ему и случилось написать несколько слабых, наспех сделанных произведений, то в этом нет ничего удивительного; объяснение тому мы находим в его тяжелейшей жизни; но вечная хвала ему за то, что он разрабатывал темы поистине важные, единственно достойные внимания мыслящего человека: предел досягаемого; душевные болезни; научные предвидения; надежды на жизнь за

гробом и их обоснование; исследование чудаков и отверженных в подлунной жизни; откровенно символическая буффонада. Прибавьте к вечно деятельному движению его мысли редкостную образованность, поразительную беспристрастность мнений, противоречащую его субъективной природе, необычайную мощь дедуктивных и аналитических исследований, убедительность, присущую его сочинениям — и вас уже не удивит, что мы назвали его сильнейшим умом Америки. Жажда целесообразности или, вернее, неумная любознательность — вот что отличает По от остальных романтиков Америки или, если вам угодно, от остальных приверженцев так называемой романтической школы.

До сих пор Эдгара По знали только по «Золотому жуку», «Черному коту» и «Убийству на улице Морг», в превосходной манере переведенных госпожой Изабеллой Менье, и по «Месмерическому откровению», переведенному для журнала «Свобода мысли» Шарлем Бодлером, только что опубликовавшем в последних двух выпусках «Парижского обозрения» свой нелюбезный взгляд на жизнь и характер злосчастного Эдгара По; Бодлеру мы обязаны и появлением этой новеллы.

Важнейшие произведения По: «The Tales of the grotesque and arabesque», что можно перевести как «Гротески и арабески», сборник рассказов, вышедших в издательстве Вилей и Путнам в Нью-Йорке, том стихов, «The litterati» (sic), «Эврика», «Артур Гордон Пим» и немалое количество весьма острых критических статей об английских и американских писателях.





ПРЕДИСЛОВИЕ К «ФИЛОСОФИИ ОБСТАНОВКИ»

Кто из нас, в долгие часы досугов, не находил блаженного наслаждения, мысленно сооружая себе образцовое жилище, идеальный дом — *мечтательню*? Каждый, согласно своей природе, сочетал бы шелк — с золотом, дерево — с металлом, приглушил бы солнечный свет или, напротив, усилил искусственное сияние светильников, даже придумал бы новые виды мебели или смешал бы старинные ее формы.

Статья, предлагаемая нашим читателям, принадлежит великому американскому писателю, неизвестному во Франции и почти непризнанному в Соединенных Штатах. Эдгар По прожил печальную жизнь и принял еще более печальную смерть. Многие его соотечественники не могут говорить об этом без горечи; к тому же Америка, великан-младенец, обладает слишком чувствительной кожей и совершенно не переносит шуток, даже если они касаются не слишком важных сфер. Фенимор Купер очень хорошо это чувствовал. Жестокие аксиомы поэта, как, например, такие: «Только янки ходят задом наперед»; «Мы утопили в своем бахвальстве всякое понятие о вкусе»; «У нас цена вещи — единственный критерий ее ценности»; «Порча вкуса прямо пропорциональна приумножению долларов»; а также его беспощадное высмеивание американской страсти к зеркалам, художественному стеклу, к газовым светильникам в особняках американской аристократии — все это, разумеется, неудобоваримо для нежного желудка юной нации *выскочек*.

Пристрастна эта статья или нет, но нам она показалась весьма любопытной; надеюсь, она развлечет и наших читателей. Что же касается собственных идей Эдгара По, относящихся к мебелировке, довольно разумных, с нашей точки зрения, то пусть читатели отнесутся к ним, как хотят.





ПОСВЯЩЕНИЕ К «НЕОБЫКНОВЕННЫМ ИСТОРИЯМ»

*Госпоже Марии Клемм,
в Милфорде, Коннектикут
(Соединенные Штаты)*

Давно уже, сударыня, мечтал я порадовать ваш материнский взор этим переводом из величайшего поэта нашего века; но литературная жизнь полна помех и препятствий, и боюсь, как бы не опередила меня Германия в деле священного долга — почтить память писателя, который, подобно Гофманам, Жан-Полям и Бальзакам, был скорее космополитом, нежели подданным своей страны. За два года до катастрофы, непоправимо сломавшей столь пылкую и полную жизнь, я уже пытался познакомить писателей моей страны с Эдгаром По. Но тогда я еще не знал, что жизнь его была вечной бурей; не знал, что эти роскошные цветы росли из вулканической почвы; и когда сегодня я сравниваю свое тогдашнее, ложное представление о его жизни с его действительной жизнью, а Эдгара По, созданного в моем воображении — то есть богача, счастливца, юного джентльмена, гения, что ради литературы отрывается порою от многообразных занятий и обязанностей светской жизни, — с подлинным Эдгаром, с бедным Эдди, которого вы любили и опекали, с тем, кого я ныне открою Франции, — эта ироническая антитеза наполняет мне душу неодолимой нежностью. Прошли годы, но призрак его преследовал меня неотступно. И сегодня я испытываю не только величайшую радость — представить его прекрасные творения — но и счастье предварить их именем женщины, что всегда была с ним добра и сердечна. И как ваша нежность врачевала его раны, так ныне он овеет дыханием славы ваше имя.

Вы прочтете мой труд о его жизни и творчестве; вы мне скажете, верно ли я понял его характер, его печаль и совершенно особую природу его мысли; и, если я ошибся, вы поправите меня. Если чувство увело меня в сторону, вы наставите меня на верный путь. Все, что исходит от вас, сударыня, я приму с уважением и признательностью, даже если вы кротко упрекнете меня за суровость по отношению к вашим согражданам; разумеется, вы попытаетесь смягчить ненависть, которую внушают моей вольнолюбивой душе республики торгашей и физиократические общества.

Я должен был во всеуслышание вознести хвалу Матери, величие и доброта которой делают честь Миру Литературы в той же мере, что и чудесные творения ее сына. И буду стократно счастлив, если хоть один луч вашего милосердия, озарявшего солнцем жизнь вашего сына, через разделяющие нас моря упадет на меня, жалкого и безвестного, и укрепит меня своим магнетическим теплом.

Прощайте, сударыня; изо всех приветствий и восторженных слов, которыми можно заключить послание *души к душе*, я не знаю ни одного, более созвучного чувствам, внушаемым мне вами, чем эти: Goodness, godness!





ПОСЛЕСЛОВИЕ К «НЕОБЫКНОВЕННЫМ ПРИКЛЮЧЕНИЯМ НЕКОЕГО ГАНСА ПФААЛЯ»

«Необыкновенные приключения некоего Ганса Пфааля» впервые были напечатаны в «Южном литературном вестнике», первом литературном журнале, издаваемом Эдгаром По в Ричмонде. Было ему тогда двадцать три года. В посмертном издании его произведений, между прочим, далеко не полном, после «Ганса Пфааля» помещена весьма удивительная заметка, анализ которой я намерен произвести и которая покажет заинтересованным читателям одну из ребяческих причуд гения.

По рассматривает различные сочинения, посвященные одной теме — Луне, ее описанию и т. п. — сочинения-розыгрыши, или, по выражению американцев, обожающих, когда их дурачат — hoaxes. По всячески старается доказать, насколько все эти сочинения ниже его собственного, поскольку им не хватает самой важной черты, сейчас объясню, какой именно.

Он начинает с того, что приводит выдержки из «Лунной повести» и «Луны-обманщицы» («Moon Story» и «Moon-Noah») господина Лока, которые, полагаю, представляют собой не что иное как перепев злосчастных «Животных на Луне», лет двадцать тому назад прошумевшие на нашей материке, уже тогда слишком американском. По начинает с утверждения, что его jeu d'esprit опубликовали в «Южном литературном вестнике» еще за три недели до того, как господин Лок напечатал свой *розыгрыш* в «New York Sun». Несколько газет объединили и опубликовали одновременно оба произведения, и Эдгар По был вправе оскорбиться тем, что ему навязали это, с позволения сказать, родство.

Если уж публика могла *проглотить* «Мооп-Ноах» господина Лока, то лишь по той причине, что ее невежество в астрономии превосходит всякое правдоподобие.

Какой бы мощью ни обладал телескоп господина Лока, не в его власти приблизить Луну, находящуюся за 240 000 миль от Земли, настолько, чтобы можно было разглядеть животных, цветы, различить форму и цвет глаз у мелких птичек, как это удалось Гершелю, герою *розыгрыша* господина Лока. Как-никак, стекла его телескопа были изготовлены у Хартлея и Гранта; а ведь эти господа, — торжествуя, заявляет По, — прекратили свою коммерческую деятельность за много лет до появления в печати этого «ноах».

Кстати о густой челке, своего рода завесе, затеняющей глаза лунного бизона: Гершель (т. е. Лок) полагает, что это — предусмотрительность природы, необходимая для защиты зрения животного от разрушительно резкой смены тьмы и света, коим подвергаются обитатели той стороны Луны, что обращена к нашей планете. Но этой смены просто нет! Обитатели Луны, если таковые имеются, не знают мрака. Когда скрывается Солнце, им светит Земля.

Вся его лунная топография, так сказать, «смещает сердце вправо». Она противоречит всем картам, противоречит сама себе. Автор и не подозревает, что на лунной карте Восток — слева.

Введенный в заблуждение такими названиями, как *Mare Nubium*, *Mare Tranquilitatis*, *Mare Fecunditatis*, которыми астрономы обозначили лунные пятна, господин Лок подробно расписывает эти моря и свойства лунной влаги. Так вот, с точки зрения астрономии на Луне ничего подобного не существует.

Описание крыльев *человека-неопыря* — всего-навсего плагиат *летучих островитян* Питера Вилкинса. В каком-то месте господин Лок говорит: «Какое, должно быть, чудесное влияние наш земной шар, в тринадцать раз превосходящий своего спутника, оказывал на него, когда тот был всего лишь зародышем в утробе времени, пассивным объектом химического родства!» Замечание тонкое, но астроном никогда бы так не сказал и уж тем более не напечатал бы в Эдинбургском научном журнале. Ибо каждый

астроном знает, что Земля — а ведь здесь говорится именно о ней — не в тринадцать, а в сорок девять раз больше Луны!

Но вот замечание, ясно характеризующее аналитический ум Эдгара По. «Как мог Гершель, — говорит он, — явственно различать живые существа и подробнейшим образом описывать их формы и краски! Это-то и выдает недобросовестность наблюдателя. Он плохо входит в роль, он даже не умеет сфабриковать достоверную *мистификацию*. А иначе как он не заметил сразу же той особенности, которая непременно бросилась бы в глаза прирожденному наблюдателю, заметь он на Луне животных, уж этот факт он мог бы предположить: «Они ходят вверх ногами и вниз головой, точь-в-точь как мухи по потолку!» Поистине, крик души.

Выдумывая растения и животных, никоим образом не следует проводить аналогию с земными созданиями; крылья *человека-нетопыря* не удержали бы его в разреженной лунной атмосфере; трансфузия искусственного света через объектив — чистая галиматья. Если б речь шла лишь о телескопах, достаточно сильных, чтобы разглядеть все происходящее на небесном теле, автору еще можно было бы поверить; но для этого еще нужно, чтобы оно было достаточно сильно освещено, а ведь чем оно дальше, тем сильнее рассеивается свет, и т. д.

Вот заключение По, небезынтересное для людей, любящих скрупулезно разглядеть в рабочем кабинете гения все до мельчайших подробностей — и квадратные листки Жан-Поля, надетые на веревочку, и паутину правки на гранках Бальзака, и манжеты Бюффона, и прочее. «Цель подобных статей — как правило, сатира; тема — описание лунных нравов в сопоставлении с земными: но ни в одной из них не вижу я ни малейшего усилия достоверно представить самые подробности полета. Все авторы выглядят полными невеждами в астрономии. В «Гансе Пфаале» замысел автора оригинален хотя бы потому, что автор, стремясь к правдоподобию, опирается на научные принципы (насколько, разумеется, это допускает фантастический характер сюжета), необходимые для убедительности описания полета с Земли на Луну».

Не возражаю, если читатель улыбнется — я и сам улыбался не раз, натываясь на любимого *конька* автора. И разве слабости великого человека не представляют умилительной картины для беспристрастного ума? До чего же и впрямь удивительно видеть, как этот ум — то глубоко германский, то в высшей мере восточный — вдруг раскрывает весь свой американизм.

Но если отнестись к нему с пониманием, то самым сильным чувством остается восхищение. Я спрашиваю — а кто бы из нас (я говорю о самых могучих) осмелился в двадцать три года, в том возрасте, когда еще только учишься *читать*, отправиться на Луну во всеоружии астрономических сведений и достаточного знания физики, решительно оседлав своего *конька*, вернее, пугливого гиппогрифа достоверности?



ЭДГАР АЛЛАН ПО, ЕГО ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

(«Парижское обозрение»,
март — апрель 1852 г.)

I

Бывает роковое предопределение; в литературе любой страны найдутся люди, на изборожденном челе которых таинственными знаками начертано: *невезенье*. Однажды пред лицом судилища предстал несчастный со странной татуировкой на лбу: *удачи нет*. Повсюду носил он с собой клеймо своей жизни, словно книга — свой титул, и допрос подтвердил, что его жизнь вполне отвечала этому ярлыку. В истории литературы нередко встречаешь подобные судьбы. Можно подумать, что такими людьми завладевает слепой Ангел Искупления и неустанно бичует их в назидание всем прочим. Тем не менее, внимательно следя за их жизнью, вы найдете у них и таланты, и добродетели, и привлекательность натуры. Таких-то общество и предаст анафеме за пороки, которые само и породило своим гонением. Чего только не делал Гофман, чтобы обезоружить судьбу! За какие только дела не брался Бальзак, заклиная удачу! Умиравшему Гофману прижигали хребет каленым железом как раз в то долгожданное время, когда он наконец-то спасся от нужды, когда издатели оспаривали друг у друга его сказки, когда он получил во владение любимую библиотеку, о которой столько мечтал. Три мечты было у Бальзака: большое, упорядоченное издание своих сочинений, избавление от долгов и брак, давно уже взлелеянный в душе; благодаря трудам, огромность которых ужасает воображение даже самых честолюбивых и усердных людей, издание осуществилось, долги были уплачены, брак заключен. Конечно, можно сказать, что Бальзак — счастливец. Но коварная судьба, едва лишь он ступил на землю обе-

тованную, тут же грубо вырвала у него свои дары. Бальзак скончался в чудовищных мучениях, достойных его мужества.

Так значит, существует все же Провидение от Дьявола, уготовляющее несчастья с самой колыбели? Человеку, пугающему вас своим талантом, мрачным и безутешным, было *предначертано* оказаться во враждебной ему среде. Душа нежная и ранимая, допустим, душа Вовенарга медленно разворачивает свои чахлые листочки в грубой атмосфере армейского гарнизона. Дух, влюбленный в пространство и очарованный свободной природой, долго борется с собой за глухими стенами семинарии. Этот дар клоуна, ироничный и сверхгротескный, этот смех до икоты, а порой — до слез, замкнули, словно в клетку, в безобразные канцелярии с зелеными папками, с людьми в очках в золотой оправе. Значит, все же существуют души, предназначенные для алтарного служения, иначе говоря, *посвященные* — души, обреченные лететь к смерти и к славе, повседневно принося в жертву себя самое? Навсегда ли кошмар «Сумерек» окутал эти избранные души? Напрасно они противятся, остерегаются, пытаются предусмотреть все вплоть до мелочей. Что ж, заткнем все ходы и выходы, запрем дверь на двойной оборот ключа, закупорим окна... Ну, вот, о замочной-то скважине мы и позабыли — и Дьявол уже вошел к нам.

Свой пес кусает их, взбесясь, и заражает.
Их обвиняет друг в измене королю.

Альфред де Виньи написал книгу, доказывающую, что поэту нет места ни при республиканском строе, ни при абсолютной, ни при конституционной монархии; никто не возразил ему.

Жизнь Эдгара По — поистине душераздирающая трагедия, и самое страшное в ней то, что развязка вполне обыденна. Различные документы, только что прочитанные мною, укрепили мое убеждение в том, что Соединенные Штаты были для По обширной клеткой, большой счетной конторой и что всю свою жизнь он провел в безнадежных попытках вырваться из этой неблагоприятной атмосферы. В одной из биографий писателя сказано, что вот если бы

мистер По захотел как-то упорядочить свой гений и применил бы свои творческие способности в иных формах, более приемлемых на американской почве, то уж тогда бы он действительно смог стать автором, зарабатывающим деньги, а *making-money author*; что в конце концов нынешние времена не так уж тяжелы для человека талантливом, он всегда заработает себе на жизнь, пусть только в делах соблюдает порядок и бережливость да умеренно расходует свои средства. Впрочем, некий критик бесстыдно утверждает, что как бы гений Эдгара По ни был велик, а все же для него самого было бы гораздо полезнее иметь всего лишь талант — потому что гораздо легче претворить в деньги талант, нежели гений. В записке, которую мы сейчас рассмотрим, один из его друзей признается, что напечатать Эдгара По в журнале было весьма трудно и что издатели поневоле платили ему меньше, чем другим, именно потому, что стиль его произведений намного выше заурядного. Все это напоминает мне гнусную поговорку, когда отец говорит сыну: «*Make money, my son, honestly, if you can, but make money*». — «*Что за дух мелочной лавки!*» — как говорил Ж. де Местр по поводу Локка.

Если вам случится разговаривать с американцем, и вы заведете речь об Эдгаре По, ваш собеседник согласится, что По — гений; более того, он это сделает весьма охотно, может быть, даже не без гордости, но в конце концов все-таки скажет вам с чувством собственного превосходства: «Сам-то я человек здравомыслящий», — после чего, с этойкой сардонической усмешкой расскажет вам, что все эти великие умы ничего-то не умеют сберечь для себя; он расскажет вам о безалаберной жизни мистере По, о том, что его дыхание настолько пропиталось парами спирта, что могло вспыхнуть от горящей свечи; расскажет о его привычках — привычках бродяги; о том, что Эдгар По — натура *блуждающая*, планета, *соскочившая с орбиты*, что он вечно колесил из Нью-Йорка в Филадельфию, из Бостона в Балтимор, из Балтимора в Ричмонд. И если вы, потрясенные одним лишь перечислением неурядиц бедственной жизни поэта, заметите, что демократия тоже имеет свои недостатки, и что, несмотря на благосклонную маску Свободы, она, вероятно, не всегда способствует расцвету

личности, что в стране, которой управляют миллионов двадцать—тридцать независимых монархов, не так-то легко мыслить и писать, и что к тому же, *говорят*, будто в Соединенных Штатах существует куда более свирепая и неумолимая тирания, нежели тирания монарха — общественное мнение — берегитесь! вы увидите, как из его выпученных глаз ударят молнии, а на губах выступит пена задетого за живое патриотизма, — и сама Америка его устами изрыгнет проклятия метафизике, а заодно и своей старой матушке-Европе. Американец — существо, исполненное здравого смысла, гордое своей промышленной мощью и слегка завидующее Старому Свету. А пожалеть поэта, даже если тот обезумеет от горя и одиночества — так у американца на это просто нет времени. Столь высоко ставит он свое юное величие, столь простодушно верит во всемогущество техники, настолько убежден, что промышленность в конце концов сожрет самого Дьявола, что ко всевозможным пустым бредням даже испытывает своего рода жалость. «Вперед! — говорит он, — вперед! И не будем печься о наших мертвецах». Он не задумываясь прошелся бы по свободным душам, попирая их ногами с такой же беспечностью, с какою проложенные им железнодорожные пути давят вырубленные леса, а его чудовища-пароходы — обломки сгоревшего накануне судна. Он так спешит... успеть. Время и деньги — все для него.

Незадолго до того, как Бальзак низошел в последнюю бездну, испуская благородные стоны героя, еще не свершившего всех своих подвигов, — Эдгара По, у которого с ним немало общего, неожиданно сражает неприглядная смерть. Франция потеряла одного из своих величайших гениев; Америка — писателя, критика и философа, вряд ли созданного для нее. Многие американцы и не слышали о смерти Эдгара По, другие полагают, что он был юным и богатым джентльменом, который пописывал от случая к случаю, сочиняя среди веселых досугов свои страшные и жуткие творения, и что все его знакомство с литературной жизнью сводилось к редким, но ослепительным успехам. В действительности все обстояло как раз наоборот.

Семья Эдгара По была одной из самых уважаемых в Балтиморе. Дед его во время революции был *quarter master*

general, и Лафайет питал к нему величайшее уважение и дружбу. Посетив Штаты в последний раз, Лафайет принес вдове деда самые торжественные уверения в своей благодарности за услуги, оказанные ему ее мужем. Прадед Эдгара По был женат на дочери английского адмирала Мак Брайда, через него семья была связана со знатнейшими домами Англии. Отец Эдгара получил приличное образование. Воспылав страстной любовью к молодой и красивой актрисе, он бежал с нею и венчался. Чтобы еще теснее связать с ней свою судьбу, он также решил стать актером. Но ни тот, ни другая не имели актерского дарования; жили они скудно, положение семьи было шатким. Молодую женщину еще как-то спасала красота: очарованная ею публика снисходительно принимала ее посредственную игру. Во время одной из гастрольных поездок они прибыли в Ричмонд, где оба и умерли, пережив один другого лишь на несколько недель; причина одна: голод, лишения, нищета.

Они оставили на произвол судьбы, без хлеба, без пристанища, без присмотра несчастного младенца, которого, однако, природа чудесно одарила. Местный богатый торговец, господин Аллан, проникся к нему жалостью. Он пришел в восторг от хорошенького мальчика и, поскольку не имел детей, усыновил его. Таким образом, Эдгар По воспитывался в достатке и получил достойное образование. В 1816 году он путешествовал со своими приемными родителями по Англии, Шотландии и Ирландии. Возвращаясь в свою страну, они оставили его у доктора Бренсби, возглавлявшего воспитательное заведение в Стокньюингтоне, близ Лондона, где он и провел пять лет.

Тот, кто задумывался над собственной жизнью, кто обращал взор вспять, сравнивая свое прошлое с настоящим, тот, у кого вошло в привычку со знанием дела анализировать свое психическое состояние, тот знает, какую огромную долю занимает отрочество в зрелом гении человека. Именно тогда в нежном и податливом сознании закладываются глубокие впечатления вещей и явлений; именно тогда все краски яркие, все чувства говорят на таинственном языке. Характер, гений и стиль человека складываются под влиянием самых обыденных, на первый взгляд, обстоятельств его ранней юности. Если бы каждый из людей,

выступающих на мировой сцене, оставил записи своих детских переживаний, какой бы мы получили бесценный психологический справочник! Краски Эдгара По, сам склад его ума насильственно вторглись вглубь американской литературы. Соотечественники считают его не вполне американцем, однако же он и не англичанин. Это чистое везение — наткнуться в одной из его малоизвестных новелл, «Вильяме Вильсоне», на удивительнейшее повествование о его жизни в Стокньюингтонской школе. Все новеллы Эдгара По в определенном смысле — автобиографические. В творении мы находим творца. Персонажи и события — всего лишь рамка и драпировка его воспоминаний.

«Самые ранние воспоминания о моей школьной жизни связаны с большим домом елизаветинских времен, стоявшим в окутанной туманами английской деревне, где росло много гигантских корявых деревьев и где все дома были очень стары. Поистине, это почтенное старое селение казалось приснившимся и весьма умиротворяло. Я и теперь как будто чувствую живительную прохладу его аллей, погруженных в глубокую тень, вдыхаю аромат бесчисленных кустов и который раз испытываю невыразимое наслаждение, слышав гулкий звук церковного колокола, каждый час внезапно и ворчливо вторгавшегося в тишь сумерек, покоивших сон резной готической колокольни.

Пожалуй, наибольшую радость — насколько я сейчас вообще способен испытывать какую-либо радость — доставляет мне припоминание мельчайших подробностей о школе и ее делах. Мне, настигнутому бедою — бедою, увы! слишком подлинною — мне простятся поиски утешения, пусть хрупкого и кратковременного, в зыбкости некоторых случайных частных. При этом они, совершенно незначительные и даже сами по себе ничтожные, приобретают в моем воображении мимолетную важность, будучи связаны с временем и местом, которые явили первые неясные предвещения удела, впоследствии выпавшего мне. Так дайте же вспомнить.

Дом, как я сказал, был стар и неправильной формы. Всю усадьбу окружала высокая и крепкая кирпичная стена, сверху обмазанная известкой и утыканная битым стек-

лом. Эта стена, похожая на тюремную, очерчивала границы наших владений; все, что находилось по другую ее сторону, мы видели только три раза в неделю — один раз по субботам после полудня, когда в сопровождении двух надзирателей нам всем классом дозволялось в правильном строю совершать краткие прогулки по окрестным полям — и дважды по воскресеньям, когда подобным же образом мы маршировали к заутрене и вечерне в единственную церковь деревни. В этой церкви глава нашей школы был пастором. Дивясь и недоумевая, смотрел я на него с галереи, пока торжественным и замедленным шагом восходил он на кафедру! Велелепный, с благостно чинным видом, в торжественном облачении, ниспадавшем лоснящимися складками, в парике, столь тщательно напудренном, столь жестком и столь обширном, — он ли, совсем недавно, брюзгливо сморщенный, обсыпанный нюхательным табаком, вершил с ферулой в руке драконовы законы училища? О гигантский парадокс, слишком, слишком чудовищный, чтобы поддаться разрешению!

В углу массивной стены хмурились еще более массивные ворота, усеянные железными шишками и увенчанные зубчатыми железными шипами. Как устрашали нас эти ворота! Они открывались только при трех периодических отбытиях и прибытиях, упомянутых ранее; и тогда в малейшем скрипе огромных петель мы находили обилие тайн — бесконечную материю для глубокомысленных высказываний или еще более глубокомысленных размышлений.

Обширная усадьба имела форму неправильного многоугольника. Три или четыре самых больших угла образовывали площадку для игр, гладкую, покрытую мелким и твердым гравием. Прекрасно помню, что там не было ни деревьев, ни скамеек, ни чего-либо подобного. Разумеется, она помещалась позади дома. Перед фасадом был разбит маленький цветник, посаженный буксом и другим кустарником, но в эту священную часть мы попадали уж в очень редких случаях — таких, как первое прибытие в школу или окончательный отъезд оттуда, или, может быть, тогда, когда кто-нибудь из родителей или друзей приезжал за нами, и мы радостно отправлялись домой на летние или рождественские каникулы.

Но школа! — что это было за причудливое старинное здание! — мне оно воистину казалось волшебным дворцом. Его извилистым коридорам и непостижимым закоулкам, право же, не было конца. В каждый данный момент затруднительно было сказать точно, на каком из двух этажей вы находитесь. Из одной комнаты в другую непременно вели три-четыре ступеньки вверх или вниз. Боковые ходы были бесчисленны — невообразимы — они так вились и запутывались, что ваши самые точные понятия о доме в целом мало чем отличались от ваших представлений о бесконечности. За пять лет моего пребывания в училище я так и не смог точно определить, в каком именно его крыле находился небольшой дортуар, отведенный мне и еще восемнадцати-двадцати ученикам*.

Классная комната была самая большая в здании — и, как мне тогда невольно казалось, во всем мире. Она была очень длинная, узкая и удручающе низкая, с заостренными готическими окнами и дубовым потолком. В отдаленном, внушавшем ужас углу располагалось отгороженное пространство футов в восемь или десять — *sanctum* главы нашей школы, преподобного доктора Бренсби, на время занятий. Это было солидное сооружение с тяжелой дверью — все мы охотнее согласились бы погибнуть от *reine forte et dure*, нежели открыть ее в отсутствие «*Dominie*». В других углах находились два похожих чулана, к коим мы испытывали куда меньше почтения, но все же немало их боялись. В одной из них преподавал «классик», в другом — «англичанин и математик». Беспорядочно расставленные по классной комнате, сдвинутые под разными углами, без конца пересекались неисчислимы скамейки и парты, черные, старые, обветшалые, отчаянно загроможденные захватанными книжками, и так исчерченные всяческими инициалами, именами, написанными полностью, карикатурными изображениями и прочими преумноженными созданиями ножа, что они вконец лишились того небольшого из их первоначальной формы, что отличало их в давно

* Обычная детская галлюцинация, преувеличивающая и усложняющая предметы.

миновавшие дни. В одном конце комнаты стояло огромное ведро с водою, а в другом — колоссальные часы.

Окруженный массивными стенами сего досточтимого училища, я провел, пока еще без скуки или отвращения, годы третьего пятилетия моей жизни. Расцветающий детский ум не нуждается во внешнем мире и его событиях для занятий или развлечений; и очевидное унылое однообразие школьной жизни изобиловало более сильными волнениями, нежели те, что в юные годы я почерпнул в разгуле, а в пору возмужалости — в преступлении. И все же я должен предположить, что мое умственное развитие в самом начале заключало в себе много необычного — даже *outré*. Вообще у людей зрелого возраста от событий самых ранних лет очень редко остаются определенные впечатления, разве лишь неясная память о жалких радостях и фантазмагорических страданиях. Со мною не так. Должно быть, в детстве я с энергией взрослого прочувствовал то, что теперь нахожу напечатленным в памяти столь же глубоко, живо и прочно, как *exergues* карфагенских медалей.

А на деле — если судить, как судит свет, — сколь мало можно припомнить! Пробуждение по утрам, ежевечерний отход ко сну, зубрежка, устные ответы, свободные часы и прогулки, времяпрепровождение, ссоры и шалости на площадке для игр — все это, благодаря давно забытому колдовству воображения, влекло за собою бездну чувств, целый мир многообразных событий, целую вселенную различных эмоций, самых страстных и волнующих. «*Oh, le bon temps, que ce siècle de fer!*» (Фраза написана по-французски)*.

Ну, что окажете об этом отрывке? Разве уже здесь не раскрывается сущность этого удивительного человека? Что касается меня, то я ощущаю черный аромат, источаемый этой школьной картинкой. Ощущаю беглую дрожь тягостных лет затворничества. Часы, проведенные в карцере; болезненность детства, чахлого и заброшенного; ужас перед вашим извечным врагом — учителем; ненависть к дес-

* Произведения По пестрят французскими фразами.

потичным товарищам, одиночество души, все пытки юных лет — Эдгар По не поддался им. Столько причин пасть духом — а он не сломлен. Отроком он любит одиночество, вернее — не чувствует себя одиноким; он любит свои страдания. *Плодотворный детский мозг* всякое переживание претворяет в радость, все озаряет ярким светом. Уже видно, что закалка воли и гордость одиночки сыграют в его жизни важную роль. Так что ж! — разве не ясно, что он почти любит свою боль, предчувствуя, что она станет его неразлучной спутницей, что он сам призывает ее с жестокостью сладострастия, как молодой гладиатор? У бедного мальчика ни отца, ни матери — но он счастлив; он гордится тем, что отмечен глубоко врезанной чеканкой — подобно *карфагенской медали*.

В 1822 году Эдгар По вернулся в Ричмонд из школы доктора Бренсби и продолжил свое учение под руководством лучших учителей. Теперь это юноша, отличающийся незаурядной физической ловкостью и грацией, причем к очарованию его странной красоты прибавилась чудесная поэтическая память и ранний дар рассказчика-импровизатора. В 1825 году он поступил в Виргинский университет — заведение, где в те времена царила величайшая распущенность. Среди своих однокашников Эдгар По особенно выделялся пылкой жадой наслаждений. Как студент он заслуживал всяческого одобрения, делая невероятные успехи в математических науках; был удивительно способным к физике и естественным наукам, что следует особо отметить, поскольку во многих его произведениях наука занимает немалое место; но при всем при том уже тогда он пил, играл в азартные игры, бесчинствовал, вследствие чего его исключили из университета. После того как мистер Аллан отказался платить карточные долги своего воспитанника, тот взбунтовался, порвал с приемным отцом и отправился в Грецию. Была пора Боцариса и восстания эллинов. Когда Эдгар По добрался до Санкт-Петербурга, его кошелек и восторженный пыл порядком поистожились; он крепко поссорился с русскими властями, но почему — мы не знаем. Дело зашло так далеко, что, как уверяют, Эдгар По чуть было не продолжил свои скороспелые знакомства

с людьми и событиями в суровой Сибири*. Но наконец, ему повезло — вмешался американский консул Генри Миддлтон и помог ему вернуться домой. В 1829 году он поступил в Вест-Пойнтскую военную школу. Тем временем мистер Аллан, первая жена которого умерла, женился вновь на особе, которая была гораздо моложе него. Ему было шестьдесят пять лет. Говорят, что Эдгар По вел себя непорядочно по отношению к молодой даме, что он высмеял этот брак. Старый джентльмен написал ему весьма суровое послание, тот ответил еще более желчным письмом. Новая рана оказалась неисцелимой, и когда вскоре мистер Аллан умер, он не оставил своему приемному сыну ни гроша.

В этом месте биографических записок я наткнулся на весьма таинственные слова, весьма темные и странные намеки на поведение нашего будущего писателя. Лицемерно и в то же время клятвенно заверяя, что он не хочет этим сказать ничего дурного, что есть вещи, которые всегда следует скрывать (а собственно, почему?), что в иных из ряда вон выходящих случаях следует умолчать о некоторых фактах, — биограф Эдгара По бросает на него тем самым очень серьезные подозрения. Подготавливаемый удар еще опаснее тем, что до времени таится во мраке. Какого черта? Что он этим хочет сказать? Может быть, он намекает, будто По намеревался соблазнить жену своего приемного отца? Невозможно угадать, что имеет в виду автор записок. Но мне кажется, я уже довольно предостерег читателя от излишней доверчивости по отношению к американским биографам. Слишком уж хорошие они демократы, чтобы не ополчиться на своих великих людей; недоброжелательность, преследующая Эдгара По даже после плачевного завершения его горькой жизни, напоминает непримиримую британскую ненависть к Байрону.

Эдгар По оставил Вест-Пойнт, не получив воинского звания, и вступил в гибельную схватку с жизнью. В 1831 году он выпустил маленький томик стихов, который был

* Жизнь Эдгара По, его приключения в России и переписка неоднократно объявлялись в американских газетах, но так и не вышли в свет.

благосклонно принят журнальной критикой, но не разошелся. Вечная история первой книги... Мистер Лоуэлл, американский критик, написал, что одно из стихотворений сборника, «К Елене», *благоухает амброзией* и что оно не выглядело бы чужеродным в греческой антологии. В стихотворении говорится о лодках Nikeи, о наядах, о славе и красоте Греции, о светильнике Психеи. Мимоходом отметим, что американцы питают слабость к стилизации, поскольку их литература еще слишком молода. Правда, пятистрочная строфа этих стихов с двумя мужскими и тремя женскими рифмами, очень звучными, своим гармоническим ритмом напоминает некоторые удачные опыты французского романтизма. Но мы видим, что здесь Эдгар По еще весьма далек от своей необычайной, ослепительной литературной судьбы.

Тем временем злополучный поэт писал в газеты, подбирая материалы и переводил для книготорговцев, сочинял блистательные статьи и рассказы для журналов. Издатели охотно их печатали, но так мало платили молодому автору, что он впал в ужасающую нищету. Он опустился так глубоко, что порой ему уже слышалось, как *скрежещут засовы у врат Смерти*. Но однажды Балтиморская газета предложила две премии — за лучшее стихотворение и за лучший рассказ. Писательское жюри, куда входил и Джон Кеннеди, было облечено обязанностью судить представленные произведения. Тем не менее, члены жюри не прочли почти ничего — ведь издателю были нужны только их подписи. Пока они болтали о том и о сем, кому-то бросилась в глаза рукопись, отличавшаяся красотой, аккуратностью и четкостью почерка. Эдгар По обладал несравненно прекрасным почерком до конца жизни. (Я нахожу это замечание вполне в американском духе.) Мистер Кеннеди прочел одну страницу и, пораженный стилем автора, прочел все произведение вслух. И жюри единодушно присудило премию тому из гениев, кто умел писать разборчивей других. Тайный конверт вскрыли и обнаружили еще неизвестное тогда имя — Эдгар По.

Издатель в таких выражениях отозвался о молодом авторе, что мистеру Кеннеди захотелось познакомиться с ним. Жестокая судьба наделила Эдгара По классической

внешностью голодного поэта. Как нельзя лучше загримировала она его для этой роли. Мистер Кеннеди рассказывает, что он увидел юношу — тощего, как скелет, от постоянного недоедания, в рединготе, протертом до утка́ и застегнутом, согласно известной тактике, до самого подбородка; продранные штаны, явное отсутствие чулок — и в то же время горделивый вид, величественные манеры и глаза, сверкающие умом. Кеннеди разговаривал с ним дружески, и поэт почувствовал себя непринужденно. Он открыл свое сердце, рассказал о себе, о своих стремлениях и великих планах. Кеннеди, не откладывая дело в долгий ящик, отвел его в магазин готового платья — к старьевщику, сказал бы Лесаж, — и предложил ему приличную одежду; затем помог завязать нужные знакомства.

Тогда-то некий Томас Уайт, купив права на «Южный литературный вестник», предложил Эдгару По вести журнал за 2500 франков в год. По «незамедлительно» женился на девушке «без гроша за душой». (Это, разумеется, не мои слова; прошу читателя отметить снисходительный оттенок презрения в термине «незамедлительно»: так значит, бедняга посмел счесть себя достаточно богатым; потому-то важное в жизни поэта событие было упомянуто с такой сухой краткостью, потому-то о молодой девушке только и было сказано, что у нее ни гроша за душой: a girl without a cent!) Говорили, что уже тогда невоздержанность стала частью его жизни; но верно и то, что он находил время писать огромное количество статей и прекрасных критических отзывов для «Вестника». Пробыв в этой должности полтора года, он уехал в Филадельфию и основал там «Gentleman's magazine». Этот периодический сборник впоследствии слился с «Graham's magazine», и По в дальнейшем писал уже для этого журнала. В 1840 году он опубликовал «The Tales of the grotesque and arabesque». В 1844 году мы встречаем его в Нью-Йорке редактором «Broadway-Journal». В 1845 году появилось скромное, хорошо известное издание Уайли и Путнема, куда частично вошли стихи и цикл рассказов. Именно из этого издания французские переводчики взяли образцы, представляющие различные стороны дарования Эдгара По, которые и появились в парижских газетах. Вплоть до 1847 года он непрерывно издает

разнообразные произведения, о которых мы сейчас и поговорим. Мы узнаём, что в небольшом городе Форхэме, под Нью-Йорком, в нищете и лишениях, умирает его жена. Чтобы хоть немного поддержать Эдгара По, нью-йоркские писатели устраивают подписку в его пользу. Пройдет еще немного времени — и газеты снова заговорят о нем как о человеке, стоящем на пороге смерти. Но на этот раз дело гораздо серьезнее — у него *delirium tremens*. Жестокая статья, помещенная в газете того времени, осуждает его за презрение к так называемым друзьям, за непримиримое отвращение к миру. Все же ему удавалось зарабатывать какие-то деньги, и он вполне бы мог жить литературным трудом, но я вывел из неохотных признаний его биографов, что жизнь его осложнилась из-за отвратительных привычек. Вероятно, в последующие два года, когда он время от времени появлялся в Ричмонде, люди приходили в праведное негодование, постоянно видя его пьяным. Как слушаешь бесконечные упреки по этому поводу, так невольно приходишь к выводу, что все остальные писатели Соединенных Штатов — примерные трезвенники! Но в свой последний приезд, длившийся месяца два, он был пристойно одет, элегантен, сдержан в манерах, очарователен и прекрасен — как может быть прекрасен только гений. Конечно, знаю я о нем слишком мало, а заметки, которые я сейчас держу перед глазами, недостаточно разумительны, чтобы объяснить его странные метаморфозы. Может быть, эти перемены в нем вызваны заступничеством его матери — вернее, ее любящей тени, ведущей за него битву вместе с ангельскими силами против злого начала, порожденного дурной наследственностью и долгими страданиями.

Во время этого последнего приезда в Ричмонд Эдгар По *дважды выступил с публичными чтениями*. Следует сказать два слова об этих чтениях, которые играют важную роль в литературной жизни Соединенных Штатов. Нет такого закона, который запретил бы писателю, философу, поэту — любому, кто умеет и хочет говорить, — выступить публично с чтением лекции или рассуждением на литературную или философскую тему. Такой человек снимает зал. Каждый посетитель платит какие-то деньги за удовольствие выслу-

шать изложение тех или иных идей или просто плетение словес, каковы бы они ни были. Публика либо приходит, либо нет. В последнем случае — дело прогорело, как может прогореть всякая коммерция, зависящая от удачи. Однако, если *чтения* проводит знаменитый писатель, как правило, бывает большой наплыв публики, ведь это своего рода литературное событие. Совсем как в Коллеж де Франс, где кафедра предоставляется всем желающим. Приходят на ум имена Андриё, Лагарпа, Баур-Лормиана и вспоминается та своеобразная «реставрация» в литературе, что произошла после поражения французской революции во всех лицах, атeneaх и казино.

Для своей речи Эдгар По избрал тему, извечно волнующую умы; у нас она тоже обсуждалась весьма бурно. Он объявил, что будет говорить *о принципе поэзии*. В Соединенных Штатах уже давно существует направление, признающее только пользу, оно охватывает буквально все стороны жизни, в том числе и поэзию. Существуют поэты, воспевающие человеколюбие, поэты всеобщего избирательного права, поэты, выступающие против закона о зерновых культурах, и поэты, призывающие строить work houses. Клянусь, что я не имею в виду никого лично из американских поэтов! Не моя вина, если одни и те же споры, одни и те же теории возбуждают умы в разных странах. Эдгар По объявил войну подобным поэтам. Он не утверждал, как иные безумцы и фанатики, секретари Гёте и других мраморных, чуждых человечеству поэтов, что всякая прекрасная вещь непременно должна быть бесполезна; но главным в его речи было опровержение того, что он остроумно назвал *великой поэтической ересью современности*. Ересь эта — идея практической пользы. Мы видим, что с определенной точки зрения Эдгар По признавал правомерность французского романтического движения. Он говорил: «Наш разум обладает врожденными способностями, цели которых различны. Часть этих способностей питает нашу практическую жилку, другая — воспринимает краски и формы, третья — занята созиданием. Логика, живопись, механика суть плоды этих разнообразных способностей. И так же, как существуют у нас нервы, приспособленные для обоняния приятных запахов, и нервы, для того чтобы

распознать прекрасные цвета или наслаждаться прикосновением к гладким предметам, так заложена в нас врожденная способность воспринимать прекрасное; у нее — своя цель и свои средства выражения. Плод этой способности — поэзия; она обращается исключительно к чувству прекрасного и ни к какому иному. *Подчинить ее критерию, годному для других наших способностей — значит оскорбить ее*, она никогда не сопрягается ни с какими материями — кроме тех, что являются хлебом насущным для органа души, которой она и обязана рождением. В том, что поэзия логично и закономерно оказывается полезной, нет никакого сомнения, но цель ее не в этом; это приходит нечаянно, *впридачу*. Никто не удивляется, если здание рынка, пристань или любая другая техническая постройка удовлетворяет требованиям прекрасного, хотя не в этом основная задача и предмет гордости инженера или архитектора». Свой тезис Эдгар По *иллюстрировал* примерами из критических статей, посвященных его соотечественникам-поэтам, и декламацией из английских поэтов. Его попросили прочитать «Ворона». Американские критики чрезвычайно высоко ценят это стихотворение. Они отзываются о нем как о весьма замечательном явлении с точки зрения техники стиха, говорят о его свободном и сложном ритме, об искусном переплетении рифм — это ласкает их национальную гордость, в какой-то мере не чуждую ревности к поэтическим достижениям Европы. Но Эдгар По сказал, что публика будет разочарована исполнением автора, что он не сумеет выигрышно подать свои стихи. Безыскусное чтение, глухой голос, монотонная интонация, неумение подчеркнуть мелодические эффекты — все это, несмотря на мастерство пера, вряд ли удовлетворит тех, кто думал насладиться, сравнивая чтеца и поэта. И я этому ничуть не удивляюсь. Мне часто приходилось убеждаться в том, что замечательные поэты — актеры просто никудышные. Этот недостаток особенно часто сочетается со строгим умом, сосредоточенным на творчестве. Поэты, обладающие глубиной — не декламаторы, и слава Богу.

В зале толпилась публика. Все, кто еще не видел Эдгара По, покуда он оставался в тени, теперь сбежались по-

глядеть на своего ныне знаменитого соотечественника. Этот великолепный прием наполнил радостью исстрадавшееся сердце. Поэт ощутил гордость — впрочем, вполне законную и простительную. Он был, казалось, совершенно очарован и даже поговаривал о том, что собирается окончательно перебраться в Ричмонд. Прошел слух, что он снова женится. Все глаза обратились на некую вдову, столь же богатую, сколь прекрасную — давнюю любовь Эдгара По; подозревали, что она-то и была прообразом его Линор. Тем не менее ему пришлось съездить в Нью-Йорк, чтобы выпустить в свет новое издание своих рассказов. Кроме того, супруг одной дамы, очень богатой, обратился к нему с просьбой составить сборник ее стихов, сопроводив его своими примечаниями, предисловием и т. п.

Итак, По уехал из Ричмонда; но уже в дороге он жаловался на озноб и слабость. Приехав в Балтимор и по-прежнему чувствуя себя больным, для подкрепления сил он выпил немного спиртного. Впервые за много месяцев он омочил губы в проклятом алкоголе — и этого было довольно, чтобы пробудить дремавшего Дьявола. День пьяного разгула закончился приступом белой горячки — его старой знакомой. Наутро поэта, в бесчувствии лежащего на земле, подобрали полицейские. Поскольку у него не было ни денег, ни друзей, ни пристанища, они отнесли его в больницу, где на одной из коек и умер создатель «Черного кота» и «Эврики» 7 октября 1849 года, в возрасте тридцати семи лет.

У Эдгара По не осталось никого из родни, кроме сестры, проживающей в Ричмонде. Жена его, урожденная мисс Клемм, умерла еще раньше, а детей у них не было. Она приходилась ему кузиной. Ее мать питала к Эдгару По глубокую привязанность. Она была рядом с ним во всех несчастиях, и его безвременная кончина потрясла ее. Их духовная связь не ослабла и после смерти ее дочери. Такая великая преданность, ничем непоколебимая привязанность благородной души, безусловно, делают честь Эдгару По. Несомненно, тот, кто сумел внушить столь безупречную дружбу, обладал многими достоинствами и неотразимо привлекательным духовным обликом.

Господин Виллис опубликовал об Эдгаре По небольшую заметку; привожу из нее следующий отрывок:

«Первое известие о том, что Эдгар По нашел пристанище в этом городе, мы получили благодаря даме, которая обратилась к нам о просьбой, представившись как мать его жены. Она искала для него службы. Свое вмешательство она объяснила тем, что сам поэт болен, а дочь ее тоже больна неизлечимо и положение семьи таково, что она почла своим долгом сама предпринять этот шаг. Ее преданность, ее готовность жертвовать собой, проникновенная печаль ее облика — все это озаряло ее черты красотой святости; ее величественные утонченные манеры, чуть старомодные, но в силу привычки естественные, и то, как она высоко ставила талант и знания своего сына, не позволяло усомниться в том, что к нам снизошел ангел — один из тех ангелов, какими становятся добродетельные женщины среди превратностей жизни. Судьба того, о ком она пеклась, была неумолима. Эдгар По писал утомительно скучно, притом *стиль его слишком возвышался над заурядным умственным уровнем, чтобы за это хорошо платили*. Он не вылезал из денежных затруднений, и ему с больной женой часто не хватало самого насущного. Каждую зиму, из года в год мы были свидетелями самого трогательного в нашем городе зрелища — как эта верная служительница Гения, бедно и недостаточно тепло одетая, ходила из редакции в редакцию, пытаясь продать какие-нибудь стихи или литературно-критическую статью; порой она прерывающимся голосом поясняла, что сам поэт болен, и просила за него, никогда не прибавляя ничего, кроме «он болен», каковы бы ни были подлинные причины, мешающие ему писать, и никогда, повествуя сквозь слезы о своей нужде, она не позволила себе проронить ни звука, который можно было бы истолковать как сомнение, порицание или ослабление веры в гений и благие намерения ее сына. Она не оставила его и после смерти дочери. Она продолжала свое ангельское подвижничество, живя при нем и заботясь о нем, приглядывая за ним и оберегая его, а когда он поддавался искушению, то при всем ее горе, в одиночестве попорванных чувств в ней с новой силой пробуждалось самоотверженное рвение, и она, оставленная, в нужде и страданиях, по-

прежнему *просила* за него. Если повсеместно признают, что преданность женщины, рожденная ее первой любовью и усиленная страстью, прославляет и освящает такую любовь, то что сказать в похвалу того, кто сумел внушить преданность чистую, бескорыстную и святую — словно бдение ангела-хранителя!

Перед нами письмо, написанное этой дамой, мистрис (sic) Клемм, в то утро, когда она узнала о смерти предмета ее неустанной любви. Оно могло бы стать лучшим ходатайством в ее пользу, но мы выпишем из него лишь несколько слов — письмо это столь же священно, сколь ее одиночество — чтобы удостоверить точность написанной нами картины и убедительнее обосновать подписку, которую нам хотелось бы учредить в ее пользу:

«В это утро я узнала о смерти моего дорогого Эдди... Не могли бы вы сообщить мне какие-нибудь подробности, мелочи?... Ах, не покидайте вашего несчастного друга в ее горьком несчастье... Скажите М., чтобы он зашел; у меня к нему есть поручение от моего бедного Эдди...

Не вижу необходимости просить вас о том, чтобы вы поместили извещение о его смерти и *говорили бы о нем только хорошее*. Знаю, что вы так и сделаете. *Но непременно скажите и о том, каким любящим был он сыном для меня, безутешной матери!..»*

Как тревожится бедняжка о репутации сына! Как это прекрасно! Величественно! Поистине, о необычайная женщина; как свободная воля господствует над роком, как дух возвышается над плотью, так и твоя любовь воспаряет над всеми человеческими привязанностями! Если б наши слезы перенеслись через океан — слезы всех тех, кто, подобно твоему Эдгару, несчастлив, неспокоен духом, и тех, кого нищета и скорбь нередко вовлекают в разгул, — о, если бы все эти слезы слились со слезами твоего сердца! Если бы эти строки, проникнутые самым искренним и почтительным восхищением, снискали благоволение в твоих материнских очах! Твой образ, почти божественный, вечно будет осенять список мучеников от литературы!

Смерть Эдгара По произвела в Америке подлинное волнение. Несомненные свидетельства скорби проявились в разных концах страны. Умершему прощается многое. Мы

счастливы, что можем сослаться на письмо Лонгфелло — это письмо делает ему тем больше чести, что Эдгар По резко критиковал его автора:

«Как печален конец Эдгара По — человека, столь богато одаренного гением! Я не был с ним знаком, но всегда питал глубокое уважение к его могучему таланту писателя и поэта. Проза его отличается замечательной силой, точностью и *в то же время богатством языка*, а стихи дышат особым, музыкальным очарованием, создавая атмосферу подлинно, поистине всепобеждающей поэзии. Резкость его критики я всегда объяснял лишь раздражительностью остро чувствующей натуры, которую даже малейшее проявление фальши приводит в отчаяние».

Право, забавно, когда *о богатстве языка* упоминает словообильный автор «Евангелины». Не видит ли он себя в Эдгаре По как в зеркале?

II

Поистине огромное и весьма полезное наслаждение — сравнивать черты характера великого человека с его творениями. Биографии, заметки о нравах, привычках и внешнем облике художников и писателей всегда возбуждали любопытство, впрочем, вполне законное. И кто из нас порою не искал остроты стиля и четкости мыслей Эразма — в резкости его профиля; пылкость и буйство образов у Дидро и Мерсье — в лепке их голов, сочетающей добродушие с некоторой долей самохвальства; упрямую иронию Вольтера — в его неизгладимой усмешке, означающей боевой вызов; или могущество повелителя и пророка — во взгляде, устремленном вдаль, и в могучей стати Жозефа де Местра, в чьем облике соединились орел и бык? Кто не пытался распознать «Человеческую комедию» на могучем челе Бальзака, в его неподвластных прочтению чертах?

Ростом Эдгар По был чуть выше среднего, но сложением крепок; руки и ноги маленькие. Он обладал незаурядной силой, покуда не подорвал свое здоровье. Поневоле подумаешь, что Природа — мы это видели не раз — особенно тяжелую жизнь уготовляет как раз для тех, от кого ждет великих дел. Даже если такие люди тщедушны на

первый взгляд, тем не менее они скроены по мерке атлетов, они выносливы равно и в наслаждении, и в страдании. Бальзак, присутствуя на репетициях своей пьесы «Источники Кинолы», руководил ими и сам проигрывал все роли; он сам правил оттиски своих книг; он обедал с актерами, и когда те, усталые, отправлялись спать, он с легкостью возвращался к своему труду. Каждый знает, что он безжалостно лишал себя сна и был воздержан до крайности. В юности Эдгар По отличался во всех упражнениях, требующих силы и ловкости; все это стало частью его таланта: математический расчет и задачи на сообразительность. Однажды он поспорил, что проплывет от набережной Ричмонда вверх по течению Джеймса семь миль и до вечера пешком вернется в город. И он это исполнил. Был знойный летний день, но По, казалось, не чувствовал усталости. Его осанка, поступь, движения, горделивый взгляд — все в нем, в его лучшие дни, изобличало человека незаурядного. Он был *отмечен* Природой, он принадлежал к тем людям, которые в любом обществе — в кафе, на улице — *притягивают* взгляд наблюдательного человека, занимая его ум. И если когда-либо слово «странный», которым немало злоупотребляют в современных описаниях, поистине оказывалось уместным — так это для определения типа красоты, присущей Эдгару По. Черты его лица были довольно правильны; светлый загар, печальное и рассеянное выражение; и хотя лицо его не отражало ни гнева, ни вызова, было в нем все же нечто мучительное. Глаза его, удивительно прекрасные, на первый взгляд — темно-серые, но если всмотреться внимательнее, оказывалось, что в них проступает холодком легкий, чуть различимый лиловый туман. Лоб его был великолепен — нет, он несколько не напоминал нелепые пропорции, выдуманные плохими художниками, которые, желая польстить гению, изображают его гидроцефалом, — но вы бы сказали, что его мыслительный орган увеличен за счет неудержимой скрытой силы. Те части черепа, что, по мнению краниологов, заведуют чувством прекрасного, хотя и были достаточно развиты, все же казались угнетенными, стесненными и смятыми надменной, всеподавляющей тиранией тех отделов черепа, где возникают сравнительные сопоставления,

умственные конструкции и причинные связи. А еще на лбу его застыло царственное спокойствие, свидетельствующее о глубоком понимании идеала, совершенной красоты, то есть прежде всего об эстетическом восприятии вещей и явлений. Но, несмотря на все достоинства, в целом лицо его не было ни приятным, ни гармоничным. Если смотреть анфас — оно поражало и настораживало преобладанием испытующе-выразительного лба, но профиль выдавал изъяны в строении черепа: слишком малая часть его приходилась на лицо; наконец, поражала его невероятная телесная и мыслительная мощь — и явный недостаток почтительности к чему бы то ни было в мире, нехватка чувства. Правда, отголоски безутешной печали, пронизывающие творения По, трогают душу, но при этом следует сказать, что печаль его — печаль неразделенная, печаль одинокого человека, не вызывающая сочувствия у большинства. Не могу удержаться от смеха, вспоминая строки одного весьма ценного в Соединенных Штатах писателя, имя которого я забыл, написанные им об Эдгаре По вскоре после его смерти. Привожу их по памяти, но за верность содержания отвечаю: «Только что перечитал произведения всеми нами оплакиваемого Эдгара По. Какой замечательный поэт! Какой поразительный рассказчик! Какой изобретательный, сверхъестественный ум! Да, то была светлая голова нашей страны! И все же... Я отдал бы все семьдесят его рассказов — мистических, аналитических и гротескных, со всеми их блистательными идеями — за добрую книжку для домашнего очага, для семейного чтения, ведь ему бы ничего не стоило написать такую книжку своим чудесным, ясным стилем, столь высоко превосходящим наше обычное умение. Насколько бы это возвеличило Эдгара По!» Требовать от Эдгара По книгу для семейного чтения! Поистине, глупость человеческая одинакова под всеми широтами, и критику всегда хочется обременить изящные деревца тяжеленными овощами.

У Эдгара По были черные волосы с мелькающими в них белыми нитями и большие взлохмаченные усы, за которыми он не следил. Одевался он со вкусом, но несколько небрежно — как джентльмен, у которого есть дела и поважнее. Держался он превосходно, был обходителен и уве-

рен в себе. Но его манера вести беседу заслуживает особого упоминания. В первый же раз, когда я расспрашивал об этом одного американца, он ответил мне, смеиваясь: «О! О! В разговоре он был *крайне непоследователен!*» После объяснений я понял, что в мире идей Эдгар По слишком широко шагал от темы к теме, как это бывает с учителем математики, когда он излагает материал перед хорошо подготовленными учениками: речь его — почти всегда разговор с самим собой. И разговор этот, несомненно, в высшей мере *питательный*. Эдгар По не был *краснобаем*, к тому же ни в своих речах, ни в своих творениях он терпеть не мог условностей; но его разносторонние знания, знакомство со многими языками, его усердные занятия, идеи, собранные им со всех концов мира, все это делало его речь предельно насыщенной смыслом. Словом, общество этого человека было драгоценно для тех, чья дружба усиливается, если от нее они получают большой умственный выигрыш. Но по-видимому, Эдгар По был не слишком разборчив в знакомствах. Способны ли собеседники оценить его утонченные абстрактные рассуждения или восторгаться блистательными концепциями, что молниями вспыхивали в пасмурных небесах его мозга, — все это мало трогало его. Он подсаживался в кабаке к какому-нибудь гнусному кутиле и всерьез развивал перед ним темы своей страшной книги «Эврика», и все это с непоколебимым хладнокровием, словно диктовал своему секретарю; либо вступал в научную дискуссию с Кеплером, Бэконом или Сведенборгом. Таково было свойство его природы. Еще никто и никогда не попирает столь дерзко законы общества, не заботясь, что о нем подумают люди; вот почему были дни, когда его пускали только в кабаки самого дикого пошиба, вот почему ему запрещали вход туда, где напиваются *порядочные люди*. Подобных грехов не прощает ни одно общество, а уж в особенности английское или американское. Эдгару По не прощали самый его гений; в своем «Вестнике» он вел беспощадную охоту на посредственность; критика его была взыскательной и острой — как это и подобает человеку, стоящему выше других, одиночке, не интересующейся ничем, кроме идеи. И настал миг, когда ему опротивело все человеческое, и лишь потустороннее

еще что-то значило для него. По, ослепляя блеском ума свою молодую, незавершенную в развитии страну, задевая своим поведением людей, почитающих себя равными ему, неизбежно должен был стать несчастнейшим из писателей. Забурлила злоба; вокруг него образовалась пустота. В Париже или в Германии он легко бы нашел друзей, они бы его поняли и утешили; в Америке он с трудом вырывал свой заработанный кусок хлеба. Вот чем исчерпывающе объясняется его пьянство и вечная перемена мест. Он странствовал по жизни, как по Сахаре, кочевал, подобно арабу.

Но были тому и другие причины: семейные горести. Мы видели, как его до времени созревшая юность была внезапно брошена навстречу превратностям жизни. Он был почти всегда одинок; более того, чудовищное напряжение мозга и ненасытная жажда трудиться неминуемо приводили к тому, что он находил наслаждение в вине. Он находил отдохновение в том, что других повергало в усталость. Словом, от литературных дрызг, от головокружений, вызванных созерцанием бесконечности, от семейных неурядиц и унижений нищеты он бежал во мрак пьянства — словно во мрак могилы; ибо пил он не как гурман — но как варвар; стоило ему пригубить спиртного, как он надолго прилипал к стойке и пил без передышки, пока не утопит в вине своего ангела-хранителя — пил до полного бесчувствия. Поистине чудо, но оно засвидетельствовано всеми, кто знал Эдгара По, — чудо, что от этой страшной привычки не пострадали ни чистота и совершенство его стиля, ни ясность мысли, ни приверженность к труду и сложнейшим научным изысканиям. Как правило, приступы запоя либо предшествовали созданию большей части его произведений, либо следовали за ними. После выхода в свет «Эврики» он предался беспробудному пьянству. В Нью-Йорке, в то же самое утро, когда журнал «Виг» опубликовал «Ворона», когда имя Эдгара По было у всех на устах, и люди пылко спорили о его стихотворении, сам он, шатаясь, плелся по Бродвею, задевая за стены домов.

Писательское пьянство — одно из самых обыденных и плачевных явлений современной жизни; но, может быть, для него найдутся смягчающие обстоятельства. Во време-

на Сент-Амана, Шапеля и Кольте литература также пьянствовала, но пьянствовала весело, в обществе благородных и знатных людей, которые сами писали недурно и при этом не сторонились *кабака*. Иные дамы и благородные девицы не краснели из-за своей склонности к винцу, как доказывает приключение одной особы, которую ее служанка застала в обществе Шапеля, когда они оба проливали горькие слезы над беднягой Пиндаром, умершим по вине невежественных лекарей. В XVIII веке эта традиция еще жила, но постепенно вырождалась. Школа Ретифа еще пьет, но то уже школа парий, мир подземелья. Мерсье, очень старого, повстречали на улице Кок-Оноре; Наполеон уже вознесся над XVIII веком, и Мерсье, будучи под хмельком, сказал, *еще живет, но исключительно из любопытства**. Сегодня писательское пьянство приобрело мрачные, зловещие черты. Нет больше литературно образованного класса, почитающего за честь водиться с писателями. Всепоглощающий писательский труд и вражда литературных школ мешают им объединиться. Что же касается женщин, то их беспорядочное воспитание, политическое и литературное невежество не позволяют писателю видеть в женщинах что-либо иное, нежели домашнюю утварь или предмет роскоши. Переварив обед и насытив зверя, поэт вступает в бескрайнее одиночество своей мысли; ремесло это — изматывающее. Что же ему остается? И потом — разум поэта свыкается с мыслью, что его творческая мощь непобедима, и вот он уже не в силах противостоять надежде, что вновь обретет в вине свои видения — мирные или страшные, все равно: они — его старые друзья. И, безусловно, этому же изменению нравов, выделившему литературный мир в особый класс, следует приписать неумеренное потребление табака, которым славится современная литература.

III

Попытаюсь определить общую идею, главенствующую в произведениях Эдгара По. Вряд ли возможно проанали-

* Знал ли Виктор Гюго об этой шутке?

зировать их полностью, даже если напишешь целый том, поскольку этот удивительный человек, вопреки своей безалаберной и дьявольски трудной жизни, создал очень много. По предстает пред нами в трех аспектах: критик, поэт и писатель; причем в писателе раскрывается философ.

Когда его пригласили заведовать «Южным литературным вестником», было условлено, что он будет получать 2500 франков в год. За это скудное жалование он взял на себя чтение и отбор произведений для ежемесячного журнального выпуска и редактирование так называемого «издательского» раздела, то есть критический разбор всех выходящих в свет сочинений и оценку всех литературных событий. Кроме того, он часто, и даже очень часто, помещал в журнала свою новеллу или стихотворение. Занимался он этим делом около двух лет. Благодаря его редакторской деятельности и своеобразию его критических статей «Литературный вестник» привлек к себе вскоре всеобщее внимание. Предо мной подборка номеров журнала за эти два года: «издательская» часть весьма внушительна; статьи очень пространны. Часто встречаешь в одном номере обзорные рецензии и на роман, и на поэтический сборник, и на трактат по медицине, физике или истории. И все они написаны с величайшей скрупулезностью, все раскрывают глубокое знание литературы многих стран и научную осведомленность автора, напоминая о французских просветителях XVIII века. Очевидно, Эдгар По не без пользы провел те бедственные годы, что предшествовали его редакторской службе, пополняя свои знания и переворошив немало вопросов. Здесь мы находим замечательную подборку критических рецензий на произведения важнейших писателей Англии и Америки, а то и на французские ученые записки. Откуда пришла идея, каково ее происхождение, цель, к какой школе она принадлежит, каков метод автора, спасительна она или опасна — все это изложено четко, ясно и понятно. Но, если на По обратились все взгляды, врагов он приобрел тоже немало. Искренне следуя своим убеждениям, он вел неустанную войну с неверными умозаключениями, глупыми подражаниями, солецизмами, варваризмами и прочими литературными преступлениями, что ежедневно свершаются в газетах и

книгах. Сам он был в этом отношении безупречен — по истине, непревзойденный образец; стиль его прозрачен, в точности выражает мысль автора, дает ее верный отпечаток. По всегда правилен. Факт в высшей мере примечательный — чтобы человек с таким переменчивым и необъятным воображением был при этом просто влюблен в правила и способен на дотошный разбор текста, на трудоемкие изыскания! Можно сказать, По — воплощенное единство крайностей. Слава критика сильно повредила его писательской удаче. Слишком многим хотелось бы отомстить ему за себя. И каких только упреков не бросали ему потом прямо в лицо, по мере того как возрастала его творческая сила! Кто не слышал из нас эту нескончаемую пошлую брань: обвинения в аморальности, в бездушии, в отсутствии выводов, в нелепости и бесполезности его творений. Что ж — ведь французские критики так никогда и не простили Бальзаку его «Великого человека из провинции в Париже».

Как поэт Эдгар По — совершенно особая статья. Он чуть ли не единственный представитель романтического движения по ту сторону океана. Он первый американец, сделавший из стиля свое орудие в полном смысле этого слова. Его поэзия, глубокая и скорбная, тем не менее отличается тонкостью выделки: это чистый, правильный, блестящий стих, подобный ограненному кристаллу. Мы понимаем, что, живи он среди нас, Альфред де Мюссе и Альфонс де Ламартин вряд ли оказались бы в числе его друзей, несмотря на редкие достоинства, за которые их обожают нежные и чувствительные души. У того и у другого не хватало воли, они не вполне властвовали собою. Эдгар По любил усложненные ритмы; но, как бы сложны они ни были, в них всегда заключалась внутренняя гармония. Есть у него небольшая поэма «Колокола», поистине поэтическая редкость; переводима ли она? — отнюдь нет. Шумным успехом пользовался «Ворон». По признанию Лонгфелло и Эмерсона, это — чудо. Сюжет утонченный, это чистое произведение искусства. В бурную дождливую ночь студент слышит, как кто-то стучится — сначала в окно, потом в дверь; он открывает, думая, что к нему гость. Но это бедняга ворон, сбившийся с пути и привлеченный

светом лампы. Этот ручной ворон научился говорить у своего прежнего хозяина, и первое слово, случайно оброненное зловещей птицей, задевает сокровенную часть души героя и высекает из нее вереницу разбуженных печальных мыслей: *умершая женщина, тысячи обманутых надежд, разбитая жизнь* — поток воспоминаний, теряющихся в холодной ночи отчаяния. Звучание стиха строгое, хочется сказать — потустороннее; строки падают одна за другой, словно размеренные слезы. В «Стране снов», *The Dreamland*, он попытался запечатлеть череду снов и фантастических видений, одолевающих душу, когда телесные глаза сомкнуты. Не менее знамениты и другие его стихи — такие, как «Улалюм» или «Аннабел Ли». Но поэтический багаж Эдгара По невелик. Его поэзия — трудоемкая, насыщенная смыслом — безусловно, требовала от него немало сил, а он слишком часто нуждался в деньгах, чтобы позволить себе вволю предаваться этой блаженной и бесплодной муке.

Новеллист и писатель, Эдгар По так же неповторим, как неповторимы, каждый в своем роде, Матюрен, Бальзак и Гофман. Различные его рассказы, разбросанные по журналам, были собраны в два букета, один — «Гротески и арабески», сборник новелл, другой — рассказы, издание Вилли и Путнама. Всего около семидесяти двух рассказов. В них есть и буйная буффонада, и чистый гротеск, и неудержимая тяга в бесконечное, и увлеченность магнетизмом. Маленький сборник рассказов имел большой успех в Париже, да и в Америке, ибо в нем содержались произведения в высшей мере драматические, но драматизм этот совершенно особого рода.

Хотелось бы мне охарактеризовать творчество Эдгара По как можно короче и точнее, но не знаю, смогу ли — ведь это совершенно новая литература. Что придает ей особую значительность и отличает ее от всех прочих, так это — да простят мне сии странные слова — предугадывание и пробабилизм. Можно проверить мое утверждение на некоторых его сюжетах.

«Золотой жук»: анализ способов разгадки криптограммы, с помощью которой можно найти зарытый клад. Не могу не думать с болью, что невезучий Эдгар По, вероят-

но, часто мечтал о кладах. Как пронизательно и логично объясняется метод расшифровки, какое удивительное и дотошное вторжение в особую область криминалистики! Как прекрасно описаны сокровища, какие жаркие, ослепительные чувства вызывают они! Ибо клад — найден! *Это отнюдь не мечта*, как обычно бывает в подобных романах, где автор, возбудив ваше воображение преждевременной надеждой, грубо пробуждает вас; нет, на сей раз — сокровище *настоящее*, и расшифровщик поистине заслужил его. Вот вам точный отчет: монетой — четыреста пятьдесят тысяч долларов, и ни пылинки серебра, чистое золото, притом старинное; монеты крупные, полновесные, с неразборчивой надписью; сто десять бриллиантов, восемнадцать рубинов, триста десять изумрудов, двадцать один сапфир и единственный опал; две сотни колец и массивных серег, тридцать цепочек, восемьдесят три распятия, пять кадильниц, огромная пуншевая чаша из золота — вся в виноградных листьях и вакханках, две рукояти от шпаги, сто девяносто семь часов, усыпанных драгоценными камнями. При беглом подсчете стоимость сокровищ оценивалась в полтора миллиона долларов, но продажа принесла гораздо больше. Описание найденных сокровищ опьяняет и вызывает желание преуспеть. Ну и, разумеется, в зарытом сундуке пирата Кидда нашлось, чем облегчить отчаяние безвестных бедолаг.

«Низвержение в Мальстрем»: а что, если можно спуститься в бездну, никем еще не измеренную, изучив законы тяжести под новым углом зрения?

«Убийство на улице Морг»: примерный урок для судебных следователей. Совершено убийство. Кем? и каким образом? В этом деле есть необъяснимые, противоречащие друг другу факты. Полиция теряется в догадках. Но тут появляется молодой человек и заново проводит следствие — из любви к искусству. Чрезмерным напряжением мысли проанализировав каждый факт, он открывает закономерность действий, совершенных дегенеративным умом. Меж двумя словами, меж двумя предположениями, ничем, на первый взгляд, не связанными, он умеет логично восстановить все связующие нити и явить ослепленному зрению недостающее звено в цепи еще неоформленных,

почти бессознательных умозаключений. Он дотошно исследует все возможные и невозможные соотношения фактов. Он восходит от индукции к анализу и весьма убедительно доказывает, что преступление совершено... обезьяной.

«Месмерическое откровение»: отправная точка такова — нельзя ли с помощью таинственных сил, так называемых магнетических флюидов, открыть закон, управляющий по-сторонними мирами? Начало повести првисполнено торжественного величия. Врач усыпляет больного единственно затем, чтобы облегчить его страдания. «Что вы думаете о своей болезни?» — «Что умру от нее». — «Вам очень горько?» — «Ничуть». Больной упрекает врача в том, что он не так задает вопросы. «Руководите мною», — отвечает врач. — «Начните с начала начал». — «А что есть начало?» Больной, очень тихо: «Бог». — «Бог есть дух?» — «Нет». — «Так что же — он материален?» — «Нет». Далее следует подробное теоретическое истолкование понятия материи, ее перехода из одного состояния в другое и обоснование иерархии живых существ. Я опубликовал эту вещь в одном из номеров «Свободной мысли» в 1848 году.

В другом рассказе речь идет о душе, обитавшей на планете, которая перестала существовать. Отправная точка: возможно ли, методом индукции и анализа, угадать, каковы были физические и моральные свойства обитателей того мира, к которому приближалась смертоносная комета?

В других случаях мы сталкиваемся с чистой фантастикой, писанной с натуры, но смысл происходящего недосказан, в манере Гофмана: «Человек толпы» постоянно погружается в ее глубины, с наслаждением плавает в человеческом океане. Когда опускаются сумерки, полные тени и дрожащего света, он бежит прочь от затихших кварталов в неудержимом стремлении отыскать уголок, где бурлит и кипит человеческое месиво. И по мере того как неуклонно сжимается круг света и жизни, человек лихорадочно ищет его средоточие; словно при потопе, в отчаянии цепляется он за последние выступающие островки людского оживления. Дальше — ничего. Преступник ли это, которого одиночество повергает в ужас? Или глупец, которому нестерпимо собственное общество?

Есть ли в Париже хоть один мало-мальски образованный писатель, не читавший «Черного кота»? Здесь мы уже видим черты совершенно иного порядка. Как невинно и трогательно начинается эта страшная поэма преступления! «Мы с женой сблизились благодаря удивительному сходству вкусов, а также благодаря нашей привязанности к животным; родители потворствовали нашему пристрастию. И потому наш дом напоминал зверинец; и каких только зверей у вас не было!» Дела семьи пришли в упадок. Вместо того чтобы действовать, человек погружается в черный кабацкий бред. Прекрасный черный кот, ласковый Плутон, которой прежде всегда приветливо встречал хозяина, когда тот возвращался домой, теперь не так уж привязан к нему; даже можно подумать, что Плутон избегает его, чуя опасность, таящуюся в водке и джине. Его поведение кажется человеку оскорбительным. Его печаль, мрачное, угрюмое состояние духа усугубляются вместе с возрастающей привычкой к отраве. Как великолепно описана жизнь кабака и молчаливые часы безрадостного пьянства! Однако действие разворачивается стремительно. Кот все больше и больше раздражает его, подобно некому укору. И вот однажды вечером, уж не знаю, по какой причине, он хватает животное и перочинным ножом вырезает ему глаз. Окривевший, окровавленный кот с тех пор бежит от него стремглав, и от этого ненависть человека растет еще больше. Наконец он ловит его и душит. Этот отрывок заслуживает того, чтобы привести его полностью:

«В положенный срок кот потихоньку оправился. Правда, пустая глазница выглядела ужасно, но от боли он как будто не страдал. Он расхаживал по дому, как ни в чем не бывало, но, как и следовало ожидать, в страхе убегал, стоило мне приблизиться. Я еще не совсем загрубел и на первых порах огорчился от столь явной неприязни, ведь еще недавно он так любил меня. Но смущение не замедлило смениться раздражением. А там уже разыграл на полную и безвозвратную мою погибель бес противоречия. Философия совершенно игнорирует это явление. Я же скорей усомнюсь, есть ли у меня душа, чем в том, что потребность перечить заложена в нашем сердце от природы — одна из

тех первозданных и самых неотъемлемых наших особенностей, в которых начало начал всего поведения человеческого. Кто же не ловил себя сотни раз на подлости или глупости, на которые нас подбило только сознание, что так поступать не положено? Разве не тянет нас то и дело, рассудку вопреки, поглумиться над законом единственно потому, что мы сознаем его непреложность? Вот бес противоречия и обуял меня, повторяю, на полную мою погибель. То была непостижимая потребность души распалить себя, надругаться над собственной своей природой, осквернять только ради скверны; она-то и побудила меня, изуевич безответное животное, не останавливаться на полпути, а довести дело до конца. Однажды я преспокойно накинул ему петлю на шею и повесил на суку; повесил, а у самого слезы ручьем, и раскаяние гложет сердце; повесил его, потому что знал, как он любит меня, и потому что понимал, что он ничем передо мной не провинился; повесил его, потому что знал, что это — грех, смертный грех, и я почти обрекаю свою бессмертную душу на такую отверженность, что на меня, если такое мыслимо вообще, уже не простирается даже не знающее границ всепрощение всемилостивого и всевысказующего Господа».

Пожар довершает разорение супругов; они находят приют в бедном квартале. Человек пьет по-прежнему. Болезнь развивается чудовищными темпами — «ибо какая болезнь хуже пьянства?» Однажды вечером в кабаке он видит сидящего на бочке прекрасного черного кота — точь-в-точь как его прежний. Кот сразу подпустил его к себе и приветливо отвечал на его ласки. Человек отнес его жене, чтобы утешить ее. Утром увидели, что кот кривой на один глаз — на тот же самый. Мало-помалу привязанность животного довела человека до отчаяния; назойливое раболепство кота казалось утонченной мезьей, иронией — словно в таинственном звере воплотились угрызения совести хозяина. Несомненно, бедняга был не в своем уме. Как-то вечером, спускаясь вместе с женой в подвал по домашним делам, он споткнулся о верного кота, который терся о его ноги. В ярости накидывается он на животное; жена бросается ему неперерез — и он единым ударом топора укла-

дывает ее на месте. Первая мысль, пришедшая ему в голову — как спрятать труп. Он замуровал его в подвальной стене. Кот исчез. «Он понял, что я в бешенстве, и рассудил, что благоразумнее удрать». После чего наш герой уснул сном праведника. Проснувшись поутру, он испытал огромное облегчение и радость оттого, что кот не встречает его своими гнусными ласками. Тем временем правосудие неоднократно обыскивало его дом; сбитое с толку следствие уже собиралось уходить, как вдруг он и говорит: «Вы еще забыли осмотреть подвал, господа!». Подвал осмотрели, и, не найдя никаких улик, полицейские уже поднимались по ступенькам лестницы, «но тут сам черт меня дернул, и, распираемый восторгом неслыханной гордости, я вскричал: «Прекрасная стена! Вот это действительно отличная работа! Теперь таких подвалов уже не делают!» — и с этими словами я постучал тростью по стене — как раз в том месте, где была скрыта жертва». Послышался приглушенный жалобный вой; убийца лишился чувств; полицейские разобрали стенную кладку, труп выпал, и взорам предстал кот-чудовище — перепачканный известкой и кровью, одноглазый и безумный.

Не только вопросы возможного и вероятного воспламеняли страстное любопытство Эдгара По, но и душевные болезни. «Береника» — блистательный опыт в этом жанре; какой бы невероятной и преувеличенной не предстала эта вещь в моем сухом анализе, все же берусь утверждать, что эта страшная история в высшей степени логична и вероятна. Эгей и Береника — двоюродные брат и сестра; Эгей — бледный, одержимый теософией худосочный юноша, злоупотребляющий силой своего разума для проникновения в область таинственного; Береника — резвая, живая, она всегда играет в рощах или в саду и вызывает общее восхищение своей ослепительной, цветущей красотой. Но вот Беренику поразила таинственная, страшная болезнь, которую иногда называют довольно странно — *дисторсия личности*. Вероятно, разновидность истерии. Кроме того, с ней случались приступы эпилепсии, порой они оканчивались летаргическим сном, похожим на смерть; пробуждение наступало неожиданно. Красота ее исчезает, можно

сказать — тает. Что же касается Эгея, то у него, говоря языком обыденным, болезнь еще более странная. Заключается она в гипертрофии созерцательной способности, в нездоровой сосредоточенности *внимания*.

«Забывшись на много часов подряд, задумавшись над какой-нибудь своеобразной особенностью полей страницы или набора книги; проглядеть, не отрываясь, чуть ли не весь летний день на причудливую тень, пересекающую гобелен или легшую вкось на полу; провести целую ночь в созерцании неподвижного язычка пламени в лампе или угольков в очаге; грезить целыми днями, вдыхая аромат цветка; монотонно повторять какое-нибудь самое привычное словцо, пока оно из-за бесконечных повторений не утратит значения; подолгу замирать, окаменев, боясь шелохнуться, пока таким образом не забудешь и о движении, и о собственном физическом существовании — такова лишь малая часть, да и то еще самых невинных и наименее пагубных сумасбродств, вызванных состоянием духа, которое, может быть, и не столь уже необычайно, но анализу оно мало доступно и объяснить его нелегко».

Он всячески старается обратить наше внимание на то, что это не просто глубокая задумчивость, свойственная людям; ибо мечтатель берет за отправную точку какое-либо примечательное явление, переходит от одной мысли к другой и после долгого дня, проведенного в мечтах, вдруг обнаруживает, что побудительная причина размышлений забыта, *incitamentum* исчез. У Эгея все совсем иначе. Предмет внимания неизменно ребяческий; но это саморазрушительное созерцание опасно: оно преломляется совершенно неожиданным образом. Созерцание почти без выводов, а что до удовольствия от размышлений — их нет и в помине; в конце концов исходный предмет внимания не только не забывается, но, напротив, приобретает сверхъестественный интерес, непомерную важность — это и есть отличительный симптом болезни.

Эгей вскоре должен вступить в брак со своей кузиной. Но даже в ту пору, когда ее несравненная красота была в полном расцвете, он никогда не обращал к ней слова любви; но он питает к ней величайшую дружбу и величайшую

жалость. И к тому же, разве Береника не обладает неотразимым соблазном — соблазном неразгаданной тайны? Эгей сам признается, что, вследствие своего *необычного, странного образа жизни, его чувства никогда не исходили из сердца, и страсти зарождались исключительно в голове*. Однажды вечером Береника появилась пред ним в библиотеке. Расстроенное ли воображение, неясный ли свет сумерек тому виной, но ему показалось, что она стала выше ростом. Он долго молча созерцал этот истощенный призрак, а она, с болезненным кокетством подурневшей женщины, вымученно улыбнулась ему, словно желая сказать: «Правда, я сильно изменилась?» — и при этом ее губы, искривленные мукой, обнажили весь двойной ряд зубов. «Век бы мне их не видеть, о Господи, а увидев, умереть бы на месте!»

Ее зубы запечатлелись в сознании несчастного. Два дня и бессонную ночь провел он на том же месте, словно пригвожденный, и вокруг него витали ее зубы. Они отчеканились в его мозгу — длинные, узкие, словно зубы павшей лошади; ни одна подробность не ускользнула от его внимания: ни пятнышко, ни зазубринка, ни точка. Он содрогнулся в ужасе, поймав себя на том, что приписывает им одним, без участия губ, способность выражать движения души и мысли: «О мадемуазель Салле говорили: «*Que tous pas étaient des sentiments*», — а я совершенно искренне был убежден, что зубы Береники — воплощение ее мыслей».

На исходе второго дня Береника умерла; Эгей не посмел не отдать последнего долга праху своей кузины и вошел в ее комнату проститься. Гроб стоял на кровати. Когда он приподнял тяжелые завесы полога, они упали ему на плечи, заключив его вместе с покойницей в тесном соприкосновении. И — странная вещь! — повязка вокруг ее челюстей развязалась. Засверкали зубы — неизменно белые, длинные...

Он с усилием отрывается от смертного ложа и в ужасе бежит.

Мрак в его мозгу сгущается, рассказ становится путанным и бессвязным. Он приходит в себя за столом в библиотеке, у лампы, над раскрытой книгой, и взгляд его падает на фразу: «*Dicebant mihi sodales, si sepulchrum amicae*

visitarem, curas meas aliquantulum fore levatas». Рядом — эбеновая шкатулка. Откуда? Зачем? Ведь эта шкатулка, кажется, принадлежит их домашнему врачу? В великом смущении входит бледный слуга; что-то говорит тихо и невнятно. Однако из обрывков фраз можно понять, что речь идет о взломе склепа, о страшных криках, о еще теплом трупe, лежащем на краю собственной могилы — об окровавленном, искалеченном трупe. Слуга указывает Эгею на его платье: оно измазано землей и кровью. Он берет его за руку: на ней какие-то странные раны, словно от ногтей. Он обращает внимание Эгея на прислоненное к стене орудие. Это заступ. С чудовищным воплем бросается Эгей к шкатулке, но от волнения и слабости роняет ее, шкатулка раскрывается, и оттуда выпадают зубоврачебные инструменты, рассыпаясь по полу со зловещим металлическим лязгом, а вперемежку с ними — ее проклятые зубы, его наваждение! Сам не отдавая себе отчета, бедняга осуществил свою навязчивую идею, вырвал зубы у своей кузины, которую после припадка эпилепсии по ошибке сочли мертвой и погребли заживо.

Как правило, Эдгар По отмечает второстепенные детали, во всякой случае, почти не придает им значения. Благодаря жесткой строгости отбора резче выделяется основная мысль, и сюжет ярче прорисовывается на оголенном фоне. Что же касается его повествовательного приема, то он довольно прост. Эдгар По цинично и монотонно злоупотребляет местоимением «я». Можно подумать, он вполне уверен в том, что его личность вызывает всеобщий интерес и ему незачем заботиться о разнообразии своих средств. Его рассказы — это почти всегда исповедь главного персонажа или его записки. Ну, а что касается той страстности, с которой он разрабатывает сферу ужасного, то на многих примерах я замечал, что обычно тягу к ужасам испытывают такие люди, чьи огромные жизненные силы не нашли себе применения, или те, что отличаются стойкой нравственной чистотой, а также те, чья душевная чувствительность подавлена обстоятельствами. Противоестественное наслаждение, которое порой испытывает человек при виде собственной льющейся крови, резкие нецелесообразные жесты, произвольный вскрик — все это

явления одного порядка. Боль исцеляют болью, отдых от покоя обретают в действии.

Другая особенность его произведений — их антиженская сущность. Женщины едят быстро-быстро, словно захлебываясь; их говорливая душа не успевает отдышаться. Как правило, им неведомы ни искусство, ни логика, ни чувство меры; женский стиль влачится и струится — как их одежды. Даже такой поистине великий и по заслугам прославленный писатель, как Жорж Санд, все же и она, несмотря на все свое превосходство, не сумела избежать общего закона, вытекающего из особенностей женского темперамента; свои шедевры она отправляет с почтой, словно письма. И разве не ходят слухи, будто она пишет свои романы на листках почтовой бумаги?

В книгах Эдгара По стиль сжатый, *логически выверенный*; недобросовестность или леность читателя не могут пробраться сквозь ячеи этой сети, сплетенные логикой. Все его мысли, как послушные стрелы, летят к единой цели.

Я прошел сквозь длинный ряд новелл и не нашел ни одной любовной истории. Но подумал об этом только дойдя до конца — настолько этот человек завораживает. Не желая никому навязывать аскетическую систему, выдвинутую честолюбивым духом, я все же думаю, что строгий стиль в литературе прозвучал бы сегодня у нас полезным протестом, вызовом всеобъемлющей женской спеси, чем дальше, тем больше распяемой смехотворным идолопоклонством мужчин; и я весьма снисходителен к Вольтеру, полагая, что он очень хорошо сделал, когда в предисловии к «Смерти Цезаря», трагедии без единого женского персонажа, рассыпался в притворных извинениях за подобную дерзость, тем самым еще больше подчеркнув свой мастерский ход.

В Эдгаре По нет никакого раздражающего хныканья; но всегда и везде — неустанное тяготение к идеалу. Подобно Бальзаку, который, вероятно, жалел, умирая, что так и не стал ученым, и он питал страсть к науке. Им написан «Учебник конхиолога», о котором я забыл упомянуть. Подобно завоевателям и философам, он стремился объединять; он стремился сочетать духовное начало с физическим. Можно подумать, что он пытается приложить к ли-

тературе философский метод, а к философии — алгебраический. В непрестанном восхождении к бесконечному задыхаешься. В этой литературе воздух разрежен, как в лаборатории. В каждой его вещи — непрерывное прославление воли, опирающейся на индукцию и анализ. Так и кажется, что По хочет перехватить слово из уст пророков и присвоить себе исключительное право на логическое обоснование. Оттого так призрачно бледны пейзажи, что служат порою фоном для его распаленных фантазий. Лишь отчасти разделяя пристрастия других людей, По изображает облака и деревья, похожие на сны о деревьях и облаках, а вернее, похожие на его странных героев, также волнуемых сверхъестественной гальванической дрожью.

Впрочем, однажды он попробовал написать чисто человеческую книгу. «Повесть о приключениях Артура Гордона Пима», не стяжавшая большого успеха, — это история о мореплавателях, которые после серьезных аварий попали в штиль Южных морей. Воображение автора тешится страшными сценами и удивительными зарисовками неведомых племен и островов, не обозначенных на карте. Книга написана в высшей степени просто и обстоятельно. Впрочем, она представлена как судовой журнал. Судно потеряло управление; кончились запасы воды и пищи; моряки дошли до людоедства. Но вот наконец показался бриг.

«На палубе корабля поначалу не было ни души, но, когда он приблизился к нам на четверть мили, мы увидели трех человек, судя по одежде — голландцев. Двое из них лежали на старой парусине на баке, а третий, взиравший на нас с величайшим любопытством, оперся на правый борт у самого бушприта. Это был высокий крепкий мужчина с очень темной кожей. Всем своим обликом он, казалось, призывал нас запастись терпением, радостно, хотя и несколько странно, кивая нам, и улыбался, обнажая ряд ослепительно белых зубов. Когда судно подошло еще ближе, мы заметили, как у него с головы слетела в воду красная фланелевая шапочка, но он не обратил на это внимания, продолжая улыбаться и кивать. Я описываю все происходящее со всеми подробностями, но — следует помнить — именно так, как нам это *казалось*.

Медленно, но более уверенно, чем прежде, бриг приближался к нам — нет, я не могу рассказывать об этом событии спокойно. Наши сердца бились все сильнее, и мы излили душу в отчаянных криках и благодарениях Всевышнему за полное, неожиданное, чудесное избавление, которое вот-вот должно было свершиться. И вдруг с этого таинственного корабля (он был совсем близко) потянуло каким-то запахом, зловонием, которому в целом мире не найти ни названия, ни подобия... что-то адское, удушающее, невыносимое, непостижимое. Я задышался, мои товарищи побледнели, как мрамор. Для вопросов и догадок времени уже не оставалось: незнакомец был футах в пятидесяти и, казалось, хотел подойти вплотную к нашей корме, чтобы мы, вероятно, могли перебраться на него, не спуская лодки. Мы кинулись на корму, но в этот момент корабль внезапно отвернуло от курса на пять-шесть румбов, и он прошел перед самым нашим носом, футах в двадцати, дав нам возможность увидеть все, что творится на борту. До конца дней моих не изгладится из памяти невыразимейший ужас, охвативший меня при виде того зрелища. Между кормой и камбузом валялись трупы, отталкивающие, окончательно разложившиеся, двадцать пять или тридцать, среди них и женские. Тогда-то мы и поняли, что на этом проклятом Богом корабле не оставалось ни единого живого существа. И все же... и все же мы взывали к мертвым о помощи! Да, в тот мучительный момент мы умоляли эти безмолвные страшные фигуры, умоляли долго и громко остаться с нами, не покидать нас на произвол судьбы, которая превратит нас в таких же, как они, принять нас в свой смертный круг! горестное крушение наших надежд повергло нас в форменное безумие, мы неистовствовали от страха и отчаяния.

Едва мы испустили первый крик ужаса, как, словно бы в ответ, раздался звук, который человек даже с самым тонким слухом принял бы за вопль себе подобного. В эту минуту судно снова сильно отклонилось в сторону, открыв перед нами носовую часть, и мы поняли причину звука. Опираясь на фальшборт, там по-прежнему стоял тот высокий человек и так же кивал головой, хотя лица его не было видно. Руки его свесились за борт, ладони были вы-

вернуты наружу. Колени его упирались в туго натянутый канат между шпором бушприта и крамболом.

К нему на плечо, туда, где порванная рубашка обнажила шею, взгромоздилась огромная чайка; глубоко вцепившись когтями в мертвую плоть, она жадно рвала ее клювом и глотала куски. Белое оперенье ее было забрызгано кровью. Когда судно, медленно поворачиваясь, приблизило к нам нос, птица как бы с трудом подняла окровавленную голову, точно в опьянении посмотрела на нас и лениво оторвалась от своей жертвы, паря над нашей палубой с куском красновато-коричневой массы в клюве, который затем с глухим ударом шлепнулся у самых ног Паркера. Да простит мне Бог, но именно в этот момент у меня впервые мелькнула мысль — впрочем, предпочту умолчать о ней — и я невольно шагнул к кровавой лужице. Подняв глаза, я встретил напряженный и многозначительный взгляд Августа, который немедленно вернул мне самообладание. Кинувшись стремительно вперед, я с отвращением выбросил безобразный комок в море.

Итак, терзая свою жертву, хищная птица раскачивала поддерживаемое канатом тело; это движение и заставило нас подумать, что перед нами живой человек. Теперь, когда чайка взлетела в воздух, тело изогнулось и немного сползло вниз, открыв нам лицо человека. Ничего более ужасающего я не видел! На нас смотрели пустые глазницы, от рта остались одни зубы. Так вот какая она, та улыбка, что вселила в нас радостные надежды! Так вот... впрочем, воздержусь от рассуждений.

Бриг, как я уже сказал, прошел перед самым нашим носом и медленно, но уверенно направился в подветренную сторону. С ним, с его фантазмагорическим экипажем уходили наши светлые надежды на спасение».

Несомненно, любимейшая книга Эдгара По — «Эврика», о ней он долго мечтал. Не имею возможности разобрать ее здесь достаточно подробно. Эта книга требует отдельной статьи. Тот, кто прочел «Месмерическое откровение», тот знает о метафизических устремлениях нашего автора. В «Эврике» Эдгар По утверждает свой метод и раскрывает закон, подчиняясь которому мироздание облеклось в сегодняшние зримые формы, обрело свое нынешнее

устройство; кроме того, автор объясняет, каким образом тот же самый закон, что сотворил все сущее, станет орудием его уничтожения и окончательного слияния нашего мира со вселенной. Вы без труда поймете, почему мне не хочется легковесно судить о столь честолюбивой попытке. Боюсь впасть в заблуждение и оклеветать автора, к которому испытываю глубочайшее уважение. Эдгара По уже обвиняли в пантеизме, и хотя я вынужден признать, что это вполне возможно, тем не менее берусь утверждать, что, подобно многим великим людям, влюбленным в логику, он порою сам себе противоречит, что, безусловно, говорит в его пользу; таким образом, пантеизм Эдгара По в значительной мере оспаривается его взглядами на иерархию живых созданий, и непреходящую сущность личности можно подтвердить многими примерами из его произведений.

Эдгар По очень гордился этой книгой, хотя она и не пользовалась таким успехом, как его новеллы, что совершенно естественно. Читать ее следует с осмотрительностью, проверяя странные умозаключения автора с помощью сопоставления аналогичных и противоположных философских систем.

IV

Был у меня друг, тоже метафизик в своем роде, не терпевший никаких возражений, с замашками Сен-Жюста. Он часто говаривал мне, опираясь на какой-либо пример из окружающего мира и поглядывая на меня при этом довольно косо: «Всякий мистик имеет свой тайный порок». И я мысленно продолжал за него: следовательно, его надо уничтожить. Но при этом я смеялся, потому что не понимал его. И вот однажды, когда я беседовал с хорошо известным и преуспевающим книготорговцем, который специализировался на том, что потакал отраслям мистической шатии и мрачных поклонников оккультного знания, то когда я стал расспрашивать о его клиентах, он сказал: «Не забывайте, что каждый мистик имеет тайный порок, и часто вполне плотский; один — пьяница, другой — обжора, третий — распутник, тот — скупердяй, этот — злодей, и так далее».

— Господи! — сказал я себе, — да что же это за роковой закон, что ввергает нас в оковы, властвует над нами и жестоко мстит нам за попытку свергнуть его непосильный произвол разрушением и ущербностью нашего духовного начала? Ясновидцы всегда были величайшими из людей. Неужели кара за их превосходство неизбежна? И разве честолюбие — не самая благородная их черта? Вечно ли будет человек столь ограничен, что каждый из его талантов сможет расцвести лишь ценою ущерба всех остальных? Если желание познать истину любой ценой — великое преступление или хотя бы опасный путь, который может привести к великим заблуждениям, если глупость и беспечность суть добродетели и верная порука душевного равновесия, то все же, думаю, мы должны быть очень снисходительны к этим прославленным преступникам, ибо нам, детям XVIII и XIX веков, вменяется в вину тот же грех.

Говорю это без ложного стыда, потому что право на эти слова мне дает чувство глубочайшей жалости и нежности; поистине, Эдгар По — пьяница, нищий, изгой, пария — нравится мне гораздо больше, чем какой-нибудь уравновешенный и *добродетельный* Гёте или Вальтер Скотт. Я ска- зал бы о нем и обо всей этой особой породе людей те слова, что приводятся в катехизисе о нашем Господе: «Он много страдал за нас».

На его могиле следовало бы написать: «Вы, все те, кто пылко стремился открыть законы своего бытия, те, кто жаждал познать бесконечное, вы, чьи попранные чувства искали страшного утешения в вине и разгуле, молитесь за него! Теперь, освобожденный от плоти, очищенный от греха, воспаряет он среди сонма созданий, существование которых он предвосхитил; молитесь за него, всевидящего и всезнающего, ибо он станет вашим заступником».



НОВЫЕ ЗАМЕТКИ ОБ ЭДГАРЕ ПО

Предисловие к «Новым необычным историям», 1857 г.

I

Декадентская литература! — как часто слышим мы эти пустые слова, произносимые на высокопарном зевке устами известных сфинксов без загадки, стоящих на страже святых врат классической эстетики. И каждый раз, как прогремит сей непререкаемый оракул, можно с уверенностью утверждать, что дело касается произведения полубопытней «Илиады». Очевидно, стихов или романа, все в которых призвано изумлять: и стиль отточен на диво, и многообразие языковых средств и просодии выверены непогрешимой рукой. И когда я слышу очередную анафему — что, к слову, всегда выпадает на долю любимейших наших поэтов — меня так и подмывает ответить: «Неужели вы принимаете меня за такого же варвара, как вы сами, и полагаете, что я способен столь же бездарно развлекаться, как вы?» И тогда в моем мозгу вскипают гротескные аллегории; две жены предстают моему воображению: одна — сельская матрона, отвратительно здоровая и добродетельная, ни ступить, ни взглянуть не умеет, словом — *всем обязанная одной лишь природе*; другая — из тех красавиц, что покоряют и гнетут душу, сочетая подлинное, самобытное очарование с красноречием наряда; она — полная госпожа своих движений, сама себе царица, сознающая свою силу, голос ее звучит, как верно настроенный инструмент, а глаза полны мысли, но вы прочтете в них лишь то, что она сама соизволит открыть вам. Вряд ли я стал бы колебаться в выборе, однако найдутся педантичные сфинксы, которые непременно упрекнут меня за непочтительность к классическим образцам. Но, оставив иносказания, думаю, что мне доз-

волено спросить сих мудрецов, понимают ли они всю тщету, всю никчемность своей мудрости. Понятие *декадентская литература* предполагает, что существует целая градация литератур — младенческая, детская, отроческая и т. д. Этот термин, хочу я сказать, включает в себе нечто роковое, предопределенное, словно некий непреложный декрет; и упрекать нас в том, что мы повинемся таинственному закону, крайне несправедливо. Из дидактической речи я понял одно: радоваться, следуя этому закону, — стыдно, и если мы в нашей жизни стремимся наслаждаться — значит, мы преступники. То же солнце, что еще недавно заливало все вокруг неприкрытым, резким светом, скоро разольется на западе разнообразными красками. Иные поэтически настроенные души обретут новые наслаждения; наблюдая за световыми играми умирающего солнца, они откроют ослепительные колоннады, потоки расплавленного металла, огненные эдемы, пышность печали, сладострастие сожалений, все волшебство мечты, все опиумные наваждения. И солнечный закат предстанет им чудесной аллегорией души, отягощенной жизнью, что уходит за горизонт во всем роскошном изобилии образов и мыслей.

Но о чем не подумали эти заядлые педанты, так это о том, что в ходе жизни могут произойти такие осложнения, такое стечение обстоятельств, что это будет полной неожиданностью для их школярской премудрости. И тогда их убогий язык окажется беспомощным; так бывает, например, в том случае, когда некий народ начинает свою литературу прямо с декадентства, то есть с того, чем другие народы обычно заканчивают, — явление, которое, вероятно, еще будет повторяться в разных вариациях.

Если в несчетных колониях нашего века образуются новые литературы, то они, несомненно, дадут непредвиденный поворот мыслей, что окончательно собьет с толку школьнический ум. Юная и в то же время древняя Америка болтает и мелет чушь с поразительной словоохотливостью. Кто сочтет ее поэтов? Им несть числа. А ее *синие чулки*? Они наводняют журналы. Ее критики? Можете не сомневаться, что у нее также найдется немало педантов, которые стоят наших; так же упорно твердят они худож-

нику об античной красоте, допрашивают поэта или писателя о нравственности его целей и чистоте его намерений. Там, как и здесь, но, пожалуй, чаще, встречаются писатели, незнакомые с орфографией; и там есть ребяческая, бестолковая возня; тьма компиляторов, любителей переливать из пустого в порожнее, плагиаторов плагиата и критиков критик. В этом кишении посредственностей, в мире, влюбленном в вещественную роскошь жизни, — а это соблазн в новом духе, через него начинаешь понимать величие ленивых народов, — в этом обществе, падком на все необычное, влюбленном в жизнь, но только в жизнь лихорадочную, — вдруг явился человек, великий не только своею метафизической пронизательностью, не только гибельной или чарующей красотой своих замыслов, точностью своих научных исследований, но еще не менее великий и в области *карикатуры*. Мне следовало бы изъясняться осторожнее, поскольку совсем недавно один опрометчивый критик, желая ошельмовать Эдгара По и внушить сомнение в моей искренности, воспользовался словом *фокусник*, некогда употребленным мною по отношению к благородному поэту скорее в похвалу ему.

Из утробы прозорливого мира, алкающего вещественных благ, По устремился в мечту. Задыхаясь в американской атмосфере, он пишет в начале «Эврики»: «Я предлагаю эту книгу тем, кто верит в мечту как в единственную реальность!» Таким образом, он был воплощенным вызовом; и, будучи вызовом, воплощал его по-своему, *in his own way*. Писатель, в «Беседе Моноса и Уны» щедро изливающий все свое презрение и отвращение к демократии, прогрессу и *цивилизации*, — тот же самый писатель, который ради того, чтобы провести легковерных сограждан и привести в восторг ротозеев, превыше всего ставил главенство человека и с величайшим хитроумием изобретал *утки*, весьма лестные для гордости *человека современного*. Эдгар По, если рассматривать его в этом свете, представляется мне кормчим, задавшимся целью посрамить своего учителя. И, чтобы еще точнее выразить свою мысль, скажу, что Эдгар По был велик во всем — не только в своих благородных убеждениях, но и как мистификатор.

II

Уж его-то никогда не удавалось провести! Я не верю, чтобы уроженец Виргинии, который во время самого разнузданного разгула демократии писал: «Народу законы ни к чему, если он не законопослушен», — мог хоть на миг стать жертвой современной премудрости; или вот это: «Воображение черни — как бы ее нос; именно воздействуя на ее воображение, и можно с легкостью водить ее за нос»; и еще сотня подобных высказываний, где насмешка так и хлещет шрапнелью презрительно и небрежно. Приверженцы Сведенборга в восторге от «Месмерического откровения», они напоминают тех простодушных ясновидцев, что некогда открыли в авторе «Влюбленного дьявола» властителя их тайн; они благодарят его за провозглашение великих истин, ибо находят — о, постигший непостижное! — что все его сочинения — чистая правда, хотя, признаются эти славные люди, сначала они подозревали, что все это лишь обычный вымысел. По отвечает, что сам он никогда и не сомневался в том, что это вымысел. Не знаю, стоит ли приводить этот отрывок, попавший мне под руку, когда я в сотый раз перелистывал его забавные «Marginalia», эту потайную камеру его разума: «Чудовищное преумножение книг по всем областям знаний — вот один из главных бичей нашего века! ибо это и составляет серьезнейшее препятствие для изучения любой позитивной науки». Аристократ скорее духом, чем происхождением, виргинец, южанин, Байрон, затерянный в недобром мире, он всегда сохранял философское бесстрашие и всегда — размышляет ли он о том, что такое нос черни, насмехается ли над фабрикантами религий, осмеивает ли библиотеки — он всегда остается тем, чем был и пребудет поэт милостью Божией: самую истиной, одетой в причудливый наряд, зримым парадоксом; он не терпит, когда его толкают локтями в толпе, и бежит на Восток, когда фейерверк расцветает на Западе.

Но вот что важнее всего: отметим, что этот писатель, плод самодовольного века, дитя народа, самодовольного, как ни один народ в мире, ясно увидел и бесстрастно подтвердил, что человек зол по природе своей. Согласно Эд-

гару По, в человеке есть таинственная сила, которую современная философия не желает принимать в расчет; и все же, без этой неназванной силы, без этой изначальной склонности многие человеческие поступки так и останутся необъясненными — необъяснимыми. Эти поступки соблазняют именно *потому*, что они дурны, губительны; в них — влечение к бездне. Эта первобытная, неодолимая сила — природная Порочность, это по ее вине человек пестует в себе одновременно убийство и самоубийство, душегуба и палача; ибо, — добавляет он с поистине сатанинской пронизательностью, — невозможность найти хоть в какой-то мере разумное объяснение дурным и пагубным поступкам неминуемо навела бы нас на мысль, что это внушение Дьявола, когда бы наш опыт и наша история не показывали, как Всевышний использует подобные случаи для утверждения порядка и наказания злодеев, но только после того как *использует их в качестве своих сообщников!* — да, признаюсь, такая мысль мелькнула в моем мозгу — вывод столь же неверный, сколь неизбежный. Но сейчас я лишь хочу обратить внимание на великую и забытую истину — на изначальную порочность человека — и не без удовольствия вижу, что к нам возвращаются утерянные обломки античной мудрости, причем из таких краев, откуда их и ждать не могли. Приятно, когда осколки от взрыва старой истины летят прямо в лицо всем этим льстецам человечества, любителям посусюкать над ним и убаюкать его, всем тем, что знай себе твердят на все лады: «Я родился добрым, и вы тоже, и все мы добры от рождения!» — но при этом проповедники бессмысленного равенства забывают, или нет! — притворяются, будто не помнят, что все мы от рождения отмечены печатью зла!

И какая бы лож могла одурачить того, кто порою — печальный долг посвященных! — так славно выводил на чистую воду любой из обманов! Что за презрение к потугам на философствование в те дни — его лучшие дни — когда он был, можно сказать, ясновидцем! Этот поэт, чьи разнообразные фантазии, казалось, созданы ради удовольствия подтвердить пресловутое всемогущество человека, хотел порою оправдаться в собственных глазах. В тот день, когда он написал: «Всякая уверенность — плод воображе-

ния», — он принизил собственный американизм; в другой раз, возвращаясь на истинный путь поэтов, послушный непреложной истине, что преследует нас, как демон, он пламенно вздыхал «о падшем ангеле, что помнит небеса»; он горько сожалел о Золотом Веке и о Потерянном Рае, оплакивал великолепие природы, «корчился в жарком ды- хании горнов»; наконец, он издал прекрасные страницы — «Беседу Моноса и Уны», что могли бы смутить и очаровать самого непогрешимого де Местра. Именно он сказал о социализме в те времена, когда у того еще не было имени, по крайней мере, это слово еще не было опошлено: «В наше время мир заражен новой философской ересью; правда, эти философы еще не объединились в секту и, следовательно, еще не придумали себе имени. Это — *верующие в старый хлам* (нечто вроде проповедников старья). На Востоке первосвященник — Шарль Фурье, на Западе — Орас Грили; и оба они стали первосвященниками с достаточным основанием. Единственное, что связывает членов этой секты — крайнее легковерие; назовем его слабоумием — и ни слова более. Спросите-ка одного из них, отчего он думает так или иначе; и если он добросовестен (а невежды, как правило, добросовестны), он ответит вам примерно то же, что ответил Талейран, когда его спросили, почему он верит в Библию. «Я верю в нее, — сказал он, — потому, во-первых, что я епископ Отонский, и, во-вторых, *потому что я в ней ровно ничего не понимаю*. То, что эти философы называют *аргументом* — это свойственная им манера *отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет*».

Прогресс, эта великая ересь отжившей философии, также не ускользнул от его внимания. Читатель увидит, в каких выражениях отозвался По о прогрессе в целом ряде своих сочинений. Видя, с каким жаром он это делает, по истине можно сказать, что он мстит за себя — он камень преткновения для общества, его бич. Как смеялся бы он презрительным смехом поэта, который никогда не вступит в сговор с кучкой олухов, случись ему наткнуться, как недавно выпало мне, на такую изумительную фразу, напоминающую дурачества шутов и нарочитые нелепости паяцев, и фраза эта горделиво красуется в весьма серьезной газете:

«Непрерывный прогресс науки совсем недавно позволил открыть заново утерянный секрет, который так долго не удавалось разыскать, касательно... (совершенно неважно, чего именно — будь то греческий огонь, закалка меди или все, что угодно, затерянное в веках) — ... самое удачное применение которого восходит еще к варварской, очень древней эпохе!!!» Вот фраза, которая смело может назваться истинной находкой, блистательным открытием даже в век *непрерывного прогресса*; но мне кажется, что мумия Аламистакео не преминула бы спросить, тихим и скромным тоном превосходства — а не благодаря ли тому же *непрерывному прогрессу*, не по его ли роковому и неодолимому закону был утерян знаменитый секрет? Но шутики в сторону — вот поистине озадачивающее явление, равно достойное слез и смеха, — послушаем, как народ, и даже многие народы, и даже все человечество говорит своим мудрецам, своим чародеям: «Я возлюблю и возвеличу вас, если вы убедите меня в том, что мы прогрессируем независимо от нашей воли, неизбежно — во время спячки; избавьте нас от ответственности, накиньте покрывало на унижительные для нас сопоставления, заключите историю в софистические рассуждения — и тогда можете провозгласить себя мудрейшими из мудрых!» Не правда ли, достойно удивления, что такая простая мысль еще не озарила умы: мысль о том, что прогресс (если он существует) совершенствует скорбь в той же мере, в какой доводит до тонкости сладострастие, и что если эпидерма народов становится все уязвимее, то сами они, очевидно, преследуют лишь *Italiam fugientem*, с каждым мигом теряя какое-нибудь завоевание, в чем и состоит вечный, самоотрицающий прогресс.

Но эти иллюзии, впрочем, небескорыстные, берут начало в глубинах разврата и лжи; болотные огни — они вызывают презрение душ, влюбленных в вечное пламя, как душа Эдгара По; они повергают в отчаяние сумрачный разум, такой как разум Жан-Жака, чья уязвленная, бунтующая чувственность заменяет ему философию. То, что он был прав, обличая *порочное животное*, — неоспоримо; но и порочное животное имеет право упрекнуть его за призыв вернуться к простой природе. Природа порождает

только чудовищ, и весь вопрос в том, как следует понимать слово *дикари*. Ни один философ не осмелится предложить в качестве образца эти жалкие, вонючие орды, эти жертвы стихий, добычу хищных зверей, равно неспособные ни смастерить себе оружие, ни составить представление о высшей, духовной власти. Но если мы сравним современного цивилизованного человека с дикарем, вернее, так называемый цивилизованный народ с так называемым диким народом, то есть с народом без всех этих хитроумных изобретений, избавляющих личность от необходимости совершать геройские подвиги, то разве не ясно, что первенство следует отдать дикарю? По своей природе и в силу необходимости он — сущий энциклопедист, тогда как цивилизованный человек оказывается замкнутым в тесном пространстве своей специальности. Цивилизованный человек изобретает философию прогресса, дабы утешиться в своей несостоятельности, в то время как дикарь — грозный и почитаемый супруг, воин, поневоле храбрый, поэт в те печальные часы, когда уходящее солнце велит ему воспеть былые дни и дела праотцов, — дикарь вплотную приближается к идеалу человека. В каком упущении посмели бы мы упрекнуть его? Есть у него священнослужитель, есть колдун и врач. Да что я говорю? У него есть даже свой денди — высшее воплощение идеи прекрасного, перенесенное в действительность, то есть тот, кто предлагает ему стиль и правила поведения. Его одежда, украшения, оружие, трубка — все свидетельствует о его изобретательности, которая покинула нас давным-давно. Сравним ли наши ленивые глаза, наши нечуткие уши с его глазами, что видят во тьме, и с его ушами, что *слышат, как растет трава*? А дикарка с ее простой младенческой душой, послушный и ласковый зверек, она отдает себя мужчине целиком, зная, что станет лишь половиной его судьбы, — так неужели мы поставим ее ниже известной американской дамы, о которой господин Белгариг (редактор «Вестника бакалейной лавки»!), думая сделать ей комплимент, сказал, что она — идеал содержанки? Слишком практический нрав этой женщины вдохновил Эдгара По — обычно такого любезного, такого почтительного по отношению к красоте — на следующие горькие строки: «Эти непомерные кошельки, на-

поминающие огромный огурец, которые в моде у наших красавиц, отнюдь не парижского происхождения, как полагают здесь; они именно туземной выделки. Да и к чему в Париже такая мода, если там женщина носит в кошельке только расхожие деньги? Не то кошелек американки! Он должен быть вместительным настолько, чтобы ей было можно положить туда *все* свои деньги — и всю свою душу впридачу!» Что же касается религии, то я бы не стал с таким легкомыслием отзываться о Фицли-Пуцли, как это сделал Альфред де Мюссе; признаюсь без ложного стыда, что культ Тевтата я ценю гораздо выше, чем культ Маммоны; и жрец, приносящий кровавому вымогателю человеческие гости, — причем такая смерть считается *почетной*, ибо жертва идет на нее *добровольно*, — кажется мне поистине добрым и человеческим по сравнению с финансистом, уничтожающим целые народы исключительно ради своей выгоды. Время от времени подобные вещи повторяются, и мне однажды попалось в статье господина Барбей д'Орвийи грустное философское восклицание, которое и подытоживает все, что мне бы хотелось сказать по этому поводу: «Цивилизованные народы, не устающие бросать камни в дикарей, скоро вы станете недостойны даже называться идолопоклонниками!»

Подобная среда — я уже говорил об этом, но готов повторять вновь и вновь — мало приспособлена для поэтов. То, что французский дух, пусть самый демократический, понимает под государством, глубоко чуждо американскому духу. В Старом Свете для всякого мыслящего человека политическое государство имеет двигательный центр, в нем — его мозг и его солнце, память о древней славе, подробные поэтические и воинские анналы, его аристократия, которой нищета, дочь мятежей, только прибавляет блеску, как ни парадоксально; но чтобы *этакое!* — толчея продавцов и покупателей, безмянное, безголовое чудище, заокеанский ссыльный — чтобы *этакое* называлось государством! — нет, мне, право, даже нравится, когда большой кабак, то есть салун, куда приходят клиенты и за грязными столами, в гомоне сквернословия говорят о делах — приравнивается *к салону* в нашем прежнем понимании: к республике разума под предводительством красоты!

Всегда будет нелегким делом благородно и в то же время успешно вести жизнь писателя — и при этом избежать оскорблений, клеветы бездарных писак, зависти богачей — а она-то и есть их злейшая кара! — избежать мести уязвленной буржуазной посредственности. То, что дается с трудом при умеренной монархии или при республике, управляемой законами, становится почти невыполнимым в этом подобии хаоса, где всякий полицейский, имея собственное мнение, устанавливает порядок согласно своим порокам или своим добродетелям, что, в сущности, одно и то же; где поэт или писатель на этой земле рабов — в глазах критиков-аболиционистов самый ненавистный человек; где не знаешь, что постыднее — их циническая развязность или их библейское лицемерие. Сжигать закованных в цепи негров, виновных в том, что их черные лица запылали румянцем оскорбленной чести, поигрывать револьвером в театральном партере, ввести полигамию в райских кущах Запада, чтобы дикари (право, этот термин несправедлив), еще не опозоренные постыдными утопиями, вешали на стены объявления — разумеется, во имя святости принципа неограниченной свободы — *об исцелении от девятимесячной болезни*; таковы некоторые бросающиеся в глаза черты, несколько картинок, рисующих нравы благородной родины Франклина, изобретателя лавочной морали, героя века, отданного на откуп вещественным интересам. Об этих чудесах дикости не следует забывать в наше время, когда американомания чуть ли не стала считаться хорошим тоном до такой степени, что, согласно обещанию одного архиепископа, вполне серьезному, само Провидение нас призывает насладиться сим заокеанским идеалом.

III

Подобная общественная среда непременно порождает соответственные литературные заблуждения. Против этих-то заблуждений и выступал Эдгар По при малейшей возможности, не жалея сил. Следовательно, мы не должны удивляться тому, что американские писатели, признавая необычайную мощь его стихов и прозы, тем не менее всегда

пытались умалить его критические достоинства. В стране, где надо всем преобладает и торжествует идея пользы, наиболее враждебная идее красоты, идеальным критиком окажется наиболее *уважаемый*, то есть такой, чьи устремления и желания ближе всего к устремлениям и желаниям его читателей, — и этот критик, не делая разницы между свойствами таланта и жанрами литературы, всем им будет предписывать единую цель, этот критик будет искать в книжке стихов способы воспитания нравов. И, разумеется, его не тронет истинная красота, присущая поэзии; еще менее его возмутят недостатки или даже огрехи в поэтическом стиле. Эдгар По, напротив, делил мир литературы на сферу *мысли*, сферу *чистого вкуса* и сферу *нравственного чувства*, поэтому характер его критики всецело зависел от того, к какой из этих трех областей относился ее объект. Прежде всего его пленяло совершенство плана и качество исполнения; разбирая литературные произведения, как разбирают на части испорченный механизм (исходя из их предназначения), он скрупулезно отмечал пороки в производстве; а при переходе к частностям, то есть к средствам выражения, словом, к стилистике, он неукоснительно вылуцивал ошибки в просодии и в грамматике, убирая весь тот сор, который у бездарных писателей портит наилучшие намерения и уродует благороднейшие замыслы.

Для него воображение — царица всех талантов, но под этим словом он подразумевает гораздо большее, нежели полагает обычный читатель. Воображение — не фантазия; оно и не способность глубоко чувствовать, хотя довольно трудно представить себе человека с воображением — и при этом нечувствительного. Воображение — дар почти Божественный, постигающий прежде всего глубинные, тайные связи вещей, соответствий и аналогий, не прибегая к философическим методам. Этому дару Эдгар По придает такую важность (если мы только верно поняли мысль автора), что в его глазах ученый без воображения не более, чем лжеученый, или, по крайней мере, не вполне ученый.

Среди литературных жанров, в которых воображение может достичь любопытнейших результатов и собрать если не самые пышные и драгоценные сокровища (они принад-

лежат поэзии), то уж, наверное, самые многочисленные и разнообразные, есть особый жанр, и к нему Эдгар По более всего пристрастился — это *новелла*. Перед романом, то есть крупным произведением, у нее есть то преимущество, что ее краткость усиливает впечатление. Ее можно прочесть единым духом, такое чтение по сравнению с чтением вразбивку, с частыми перерывами ради сумятицы дел и светских обязанностей, оставляет в душе более сильное впечатление. Единство впечатления, его целостность — великое преимущество, придающее этому жанру сочинений особенное превосходство, отчего новелла, пусть даже слишком краткая, если считать это недостатком, ценится гораздо выше, чем слишком длинная. Художник, если он владеет своим искусством, не станет приспособливать свою мысль к случаю; но, всесторонне обдумав на свободе нужный ему эффект, он сам придумает для него случаи, расставит события таким образом, чтобы вернее получить желаемый эффект. И если уже начальная фраза не подготавливает заключительного впечатления, значит, произведение не задалось с самого начала. Во всем сочинении не должно проскользнуть ни единого слова, которое не относилось бы, прямо или косвенно, к заранее обдуманной цели и не способствовало бы ее осуществлению.

Есть у новеллы одна черта, благодаря которой она обретает превосходство даже над стихотворением. Для развития идеи Красоты необходим ритм, он — высшая, благороднейшая цель стихотворения. А вместе с тем хитросплетения ритма — неодолимое препятствие для кропотливого развития мысли, ее свободного выражения, ведущего к конечной цели — *к истине*. Ибо целью новеллы зачастую бывает истина, а логическое рассуждение — лучший способ построить совершенную новеллу. Вот почему произведения этого жанра, не достигая высот чистой поэзии, все же могут приносить плоды более разнообразные и к тому же более доступные заурядному читателю. Кроме того, в распоряжении автора новеллы есть множество звучаний, языковые оттенки, резонерский, саркастический или же юмористический тон, исключаяющий поэзию, и все это, казалось бы, не согласуется меж собой, оскорбляет идею чистой красоты и даже оборачивается для

писателя, преследующего в своей новелле единственную цель — выразить красоту — весьма невыгодным образом, если нет у него самонужнейшего инструмента — ритма. Я знаю, что в литературе любой страны было немало попыток, и даже удачных, создавать такие чисто поэтические рассказы; да и сам Эдгар По написал прекраснейшие произведения в этом духе. Но вся эта борьба, все эти усилия лишь свидетельствуют о силе поистине художественных приемов, если они соответствуют поставленной цели, и я склонен думать, что у некоторых писателей, даже у великих, эти героические попытки — свидетельство отчаяния.

IV

«Genius irritabile vatum!» Само собой разумеется, что поэты (мы употребляем это слово в широком смысле, разумея под ним художников вообще) впечатлительны; но *отчего* они таковы — на мой взгляд, понятно далеко не всем. Художник становится художником лишь благодаря своему непогрешимому чувству прекрасного; это чувство приносит ему пьянящее наслаждение, но в то же время неизбежно влечет за собой еще одно, также непогрешимое чувство — неприятие любого уродства, любого нарушения гармонии. И потому-то любая обида, любая несправедливость, испытанная поэтом, если он доподлинно поэт, приводит его в такое отчаяние, какого, по общему мнению, эта обида *не сто́ит*. Поэты *никогда* не видят несправедливости там, где ее нет, но зато весьма часто обнаруживают ее там, где не-поэт ее просто не заметит. Таким образом, знаменитая впечатлительность поэтов связана не с темпераментом, в обыденном значении этого слова, но с даром ясновидения, особенно чутким к несправедливости и фальши. Это ясновидение — не что иное, как логическое следствие живого восприятия истины, справедливости, соразмерности, словом, Красоты. Не подлежит также сомнению, что человек не впечатлительный (по общему суждению), не *irritabilis* — ни в коей мере не поэт».

Так говорит сам поэт, составляя блистательную, неопровержимую апологию в защиту людей одной с ним породы.

Свою впечатлительность По вносил в литературные дела, и величайшее значение, которое он придавал всему, что касается поэзии, подчас приводило к тому, что он принимал слишком явный, на взгляд бездарных писателей, тон превосходства. Кажется, я уже отмечал, что французскую печать давно отравляет множество предрассудков, с которыми приходилось сражаться Эдгару По, отравляют ложные представления и пошлые мнения на его счет. И потому было бы весьма полезно изложить в общих чертах его важнейшие мысли о поэтическом творчестве. Сопоставляя общепринятые заблуждения, легко прийти к верным выводам.

Но прежде всего я должен сказать, что, будучи поэтом от природы, Эдгар По в то же время обладал врожденными способностями к науке, ученым занятиям, а также аналитическим даром, что в глазах спесивых невежд переходило все границы. Он не только расточал немалые силы, желая подчинить своей воле ускользающего демона счастливых мгновений, не только вызывал по своему хотению эти чудные впечатления, приманки для души, признаки поэтического здоровья, столь редкие и драгоценные, что поистине их можно почесть благодатью, прозрением, ниспосланным свыше; более того, он сумел подчинить вдохновение методу и строжайшему анализу. Выбор творческих приемов! — вот к чему он постоянно возвращается, с красноречием посвященного настаивает на подчинении литературного приема конечной цели, на умелом использовании рифмы, на совершенствовании повтора, на согласовании ритма с чувством. Он утверждал, что тот, кто не умеет уловить неуловимое, — не поэт; только тот поэт, кто повелитель своей памяти, властелин слов, реестр собственных чувств, всегда готовый раскрыться на нужном месте. Все для развязки! — любил он повторять. Даже сонету необходим четкий план — каркас, основа — это важнейшее условие таинственной жизни творений духа.

Я, разумеется, обращаюсь к статье под названием «Поэтический принцип» и уже в ее начале нахожу яростное возражение против того, что в поэзии можно назвать ересью длины или величины, то есть против нелепого преувеличения ценности длинных стихов. «Длинных стихов не

бывает; то, что подразумевают под длинным стихотворением — яркий пример противоречия терминов». И, поистине, стихи недостойны называться стихами, если они не волнуют, не похищают души, и подлинная ценность стихотворения как раз и состоит в пробуждении этого волнения, *в похищении души*. Но любое волнение по своей психологической природе преходяще, оно скоро проходит. И то странное состояние, в которое душа читателя вовлечена, можно сказать, насильно, длится, пока он читает стихотворение, и длина его как раз соответствует той мере восторга, на которую способна человеческая природа.

Что и говорить, эпическая поэма обречена. Ибо труд такого объема можно рассматривать как поэтический лишь постольку, поскольку в нем соблюдено условие, необходимое для жизни любого произведения искусства — Единство; я говорю не о единстве замысла, но о единстве впечатления, о той *целостности* воздействия, о которой я уже говорил, когда сравнивал роман и новеллу. Итак, эпическая поэма с точки зрения эстетики — парадокс. Вполне вероятно, что в древности были созданы циклы лирических стихотворений, объединенных позднее компиляторами в эпические поэмы; но очевидно, что любой *эпический замысел* вытекает из несовершенного понимания искусства. Пора этих аномалий миновала, и весьма сомнительно, чтобы длинные стихи когда бы то ни было пользовались популярностью, в полном смысле слова.

Следует добавить, что слишком краткий стих, недостаточно *питающий* возбужденный им интерес, также неполноценен, поскольку не удовлетворяет естественный аппетит читателя. Какое бы сильное, яркое впечатление он ни вызвал, а все ж оно недолговечно, ускользает из памяти; оно подобно печати, оттиснутой наспех, без должного нажима: не успевает запечатлеться на воске.

Но существует еще одна ересь, которая, благодаря лицемерию, косности и низости умов, гораздо опаснее и, возможно, не в пример долговечнее — заблуждение весьма живучее — я имею в виду *ересь образования*, которая как неперемненные условия включает ереси *страсти, истины и морали*. Тьмы людей воображают, что цель поэзии — обу-

чение чему-либо, что она должна либо укрепить совесть, либо *предъявить* хоть что-нибудь полезное. Эдгар По утверждает, что американцы с особым усердием поддерживают эту еретическую идею; увы! нет никакой необходимости ехать в Бостон, чтобы повстречаться с упомянутой ересью. Даже здесь она осаждает нас, изо дня в день пробивая бреши в подлинной поэзии. Поэзия, если только захочешь углубиться в себя, спросить свою душу, припомнить свои былые восторги, не имеет иной цели, кроме себя самой; она не может иметь никакой иной цели, и ни одно поэтическое творение не будет столь великим, столь благородным, поистине столь достойным называться поэзией, как то, что пишется единственно ради удовольствия написать стихи.

Не хочу сказать, что поэзия не облагораживает нравы; пусть меня поймут как следует — и что она в конечном итоге не возвышает человека над уровнем низменных интересов; утверждать это было бы нелепо. Я лишь говорю, что если поэт преследует в стихах нравоучительную цель, он умаляет тем самым свою поэтическую силу; и можно смело поручиться, что его творение будет дурно. Поэзия, под страхом собственной смерти или умаления дара, не может смешиваться с наукой или моралью; ее предмет является не Истина, а лишь она сама. Способы выявления Истины иные, они — вне поэзии. У Истины с песнями нет ничего общего. Все, что составляет очарование, прелесть, неотразимость песни, лишило бы Истину ее силы и власти. Холодный, спокойный, бесстрастный наставительный нрав отвергает цветы и алмазы Музы; он — полная противоположность нраву поэтическому.

Собственно разум стремится к истине, вкус открывает нам красоту, а нравственное чувство учит нас долгу. Правда, второе из этих качеств (вкус) незримо нитями связано с первым и третьим и столь незначительно отличается от нравственного чувства, что Аристотель без колебаний включил в число добродетелей кое-какие свойства, относящиеся именно к сфере вкуса. Итак, человека наделенного вкусом, в картине порока более всего отвращает уродство, нарушение пропорции. Порок посягает на справедливость

и на истину, возмущает разум и совесть; но особенно ранит он иные поэтические души как оскорбление гармонии, как диссонанс; и я думаю, что позволительно рассматривать всякое нарушение нравственности, идеальной нравственности, как разновидность преступления против всемирного ритма и просодии.

Именно этот чудесный, бессмертный инстинкт красоты позволяет нам рассматривать землю и ее зрелища как отображение неба, как *соответствие* ему. Неутолимая жажда всего, что лежит по ту сторону земного, но озаряет жизнь откровением, есть самое живое свидетельство нашего бессмертия. Именно в поэзии и *сквозь* поэзию, в музыке и *сквозь* музыку прозревает душа сокровища, ожидающие нас за гробом; и когда прекрасный стих исторгает слезы из наших глаз, эти слезы говорят не об избытке наслаждения, но скорее о вспышке меланхолии, о вмешательстве нервов, о натуре нашей, обреченной томиться вдали от совершенства, но жаждущей уже теперь, на земле, рая, что был явлен ей в откровении.

Итак, принцип поэзии выражен неукоснительно и просто в человеческом стремлении к высшей красоте, и проявляется этот принцип в восторге, в душевном возбуждении, — в восторге, ни в коей мере не зависящем от страсти, то есть сердечного опьянения, и от истины, то есть пищи для разума. Ибо страсть — *естественна*, даже слишком естественна, а потому способна привнести оскорбительный, нестройный тон в сферу чистой красоты, и слишком привычна, слишком несдержанна, то есть угрожает смутить чистые желания, изящную печаль и благородную разочарованность, что населяют потусторонние пространства поэзии.

Эта необычайная высота, эта утонченность, этот отзвук бессмертия, — все, что Эдгар По требует от Музы, не только не ослабляет его внимания к самому процессу творчества, но напротив, побуждает его к бесконечному совершенствованию художественных приемов. Многие, а в особенности те, кто прочел его удивительное стихотворение «Ворон», наверное будут возмущены, если я проанализирую статью, где наш поэт, на первый взгляд совершенно невинно, но не без дерзости (и я не стану его за это

порицать) скрупулезно объяснил, какие методы он здесь использовал: разработку ритма; выбор рефрена — самого краткого, но гибкого, податливого на вариации и притом наиболее полно раскрывающего скорбь и отчаяние, да к тому же украшенного самой звучной из всех возможных рифмой (певеттоге, никогда более); выбор птицы, способной подражать человеческому голосу, причем птицы зловещей, которая в народном суеверии является роковым предвестником смерти — ворона; выбор самой поэтичной из возможных тональностей — печальной; самого поэтического чувства — любви к умершей, и т. д. «И я не помещу героя, — говорит он, — в убогую обстановку, поскольку бедность тривиальна, она противоположность красоты. Его печаль найдет приют в роскошной, поэтически убранной комнате». Во многих новеллах Эдгара По читатель еще не раз повстречает эти любопытные свидетельства его умеренного пристрастия к прекрасным и в особенности к странно прекрасным формам, к богатому убранству, к восточной пышности.

Я сказал уже, что эта статья представляется мне отчасти дерзкой. Что уж говорить о приверженцах теории вдохновения — они там найдут немало и кощунства, и поруганных святынь; но я-то думаю, что статья писана именно для них. Насколько иные поэты притворяются, что они пребывают во власти самозабвения, и думают, зажмурясь, попасть в цель, насколько они веруют в хаос и надеются, что наугад подобранные к потолку строки свалятся им на голову готовыми стихами, настолько Эдгар По, один из самых вдохновенных людей, каких я когда-либо знал, старательно скрывает стихийную сторону своего творчества, делая вид, что главное в нем — обдуманность и расчет. «Думаю, что я достоин похвалы, — говорит он с гордостью, пусть и забавной, но, на мой взгляд, отнюдь не безвкусной, — ибо ни одно слово в моем сочинении не возникло случайно, и произведение продвигалось к цели шаг за шагом, с точностью и неукоснительной логикой математической задачи». Итак, говорю я, никто, кроме любителей случая, фаталистов вдохновения и фанатиков *белого стиха* не найдет все эти *мелочи* странными. В искусстве мелочей не бывает.

По поводу белого стиха добавлю, что Эдгар По придавал рифме величайшую важность и так же скрупулезно исследовал математическое и музыкальное наслаждение, доставляемое рифмой нашему разуму, как проникал во все, что имеет хоть малейшее отношение к поэтическому ремеслу. Показав, что рефрен можно бесконечно варьировать, он также стремился освежить и удвоить наслаждение рифмой, привнося в нее элемент неожиданности, *странность*, как необходимую приправу для красоты любого рода. Особенной его удачей стали повторы то одной, то нескольких строк, упорное возвращение тех же фраз, несущих в себе одержимость печалью или навязчивую идею — рефрен простой и чистый, но поворачивающий событие разными гранями, рефрен-вариация, питающий безвольную отрешенность, и его рифмы, двойные, тройные, и еще та разновидность рифмы, что придает современной поэзии удивительность леонинского стиха, но еще с большей, намеренной точностью.

Само собой разумеется, что ценность этих приемов можно проверить лишь на деле; конечно, перевести такие стихи — тщательно обдуманное, насыщенное мыслью — желанная мечта; но всего лишь мечта. По написал не много стихотворений; порою он выражал сожаление, что не предался поэзии — самому, по его мнению, благородному виду творчества — безраздельно. Но стихи его оказывают на умы могучее действие. Это не пылкие излияния Байрона, не тихая, гармоничная и утонченная печаль Теннисона, к которому, кстати сказать, он питал обожание почти братское. Нет, его поэзия — нечто глубокое и мерцающее, словно сон, таинственное и совершенное, словно кристалл. Нет необходимости добавлять, что американские критики хулили ее довольно часто; так, совсем недавно, в американском биографическом справочнике я наткнулся на статью, где его поэзия была объявлена странной и выражалось опасение, что эта Муза в обдуманном наряде еще, чего доброго, создаст свою школу в стране, прославляющей нравственность пользы, а также высказывалось сожаление, что Эдгар По не только не употребил свой талант на утверждение нравственных истин, но, напротив, расточил его в поисках странного идеала, и к тому же его стихи

полны сладострастия — правда, таинственно завуалированного, но чувственного.

Нам знаком этот честный поединок. Упреки, которыми плохие критики осыпают хороших поэтов, во всех странах одинаковы. Когда я читал ту статью, мне казалось, что это перевод одного из бесчисленных обвинений, выдвигаемых парижскими критиками против тех наших поэтов, что более всех прочих влюблены в совершенство. Имена наших любимцев нетрудно угадать, и меня поймет всякая душа, пристрастная к поэзии, если я скажу, что наша антипоэтическая порода менее всего ценила бы Виктора Гюго, будь он более совершенен, и ни за что не простила бы ему его лирического гения, если бы он не вводил столь напористо в свою поэзию того, что Эдгар По рассматривал как главную ересь современности: дидактику.





ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОДНОГО СТИХОТВОРЕНИЯ

(«Французское обозрение»,
20 апреля 1859 г.)

Поэтические приемы, как нам внушали, создаются и совершенствуются после того, как стихи уже написаны. Но вот поэт утверждает, что стихотворение написано им по заранее заданным поэтическим принципам. Несомненно, он поэт гениальный и вдохновенный, как ни один другой, — если под вдохновением разуместь силу, увлеченность духа и умение всегда держать наготове свои способности. Но он к тому же и труд свой любил, как никто. Будучи сам законченным оригиналом, он любил повторять, что оригинальность — вопрос мастерства, но это еще не означает, что оригинальности можно научиться. Случай и непостижное — вот два ее главных врага. Неужели он из непонятого и смешного тщеславия сдерживал и пытался умалить свое природное вдохновение? Удалось ли ему обуздать благословенный дар природы, чтобы отдать первое место воле? Я склонен этому верить, хотя и не следует забывать, что его гений, столь пламенный и стремительный, был неизменно влюблен в анализ, механику и математический расчет. Вот еще одна из его излюбленных аксиом: «В стихотворении, как в романе и в сонете, как в новелле, все должно способствовать развязке. Когда хороший писатель пишет свою первую строку, он уже видит последнюю». Благодаря такому превосходному методу, композитор может начать свое произведение с конца и работать над любой его частью, когда ему заблагорассудится. Вероятно, любители *поэтических восторгов* придут в негодование от подобных *цинических* афоризмов, но каж-

дый найдет в них то, что ему хочется найти. Всегда полезно показать, какие преимущества может извлечь искусство из мыслительного процесса, чтобы светские люди поняли, что предмет роскоши, именуемый Поэзией, требует немалого труда.

В конце концов, малая толика шарлатанства всегда доволена гению и даже не портит дела. Так румяна на лице женщины, и без того прекрасной от природы, дают новую пищу для души.

Страннейшее стихотворение. Оно все держится на одном слове, страшном, как бесконечность, это слово с начала времен повторяют миллионы искаженных страданием уст, его в привычном и пошлом отчаянии не один мечтатель писал на краешке стола, пробуя перо: *Никогда!* Вот мысль, до краев наполняющая безмерность, оплодотворенную гибелью, и Человечество, не огрубевшее душою, добровольно приемлет Ад, лишь бы избежать неисцелимого отчаяния, заключенного в этом слове.

Когда снимаешь с поэзии прозаический слепок, непременно ужаснешься несовершенству полученного результата; но куда больше зла в зарифмованном попугайничанье. Читатель поймет, что не в моих силах дать ему точное представление о пронзительной, заунывной звучности стиха, о могучей силе действия повторов, где глубокие утренние рифмы печально звенят, словно льдинки. Это стихи бессонницы, порожденной отчаянием; в них есть все: и лихорадочная мысль, и ярость красок, и болезненные рассуждения, и говорливость, вызванная страхом, и даже странная веселость, веселость страдания, от которой еще больнее. Прислушайтесь, как поют в вашей памяти самые жалобные строфы Ламартина, самые колдовские и сложные ритмы Гюго; прибавьте сюда самые изящные и прозрачные терцины Теофиля Готье — например его «Сумерки», эти четки, собранные из жутких кончетти о смерти и небытии, где тройственная рифма так хорошо увязана с неотступной печалью, — и вы получите, может быть, приблизительное понятие о даре Эдгара По как мастера стихосложения; я говорю: как мастера стихосложения, поскольку говорить о силе его воображения, думаю, совершенно излишне.

Но я уже слышу, как читатель, подобно Альцесту, бормочет: «Увидим!» Итак, вот эти стихи:

(следует перевод «Ворона»)

А теперь рассмотрим, что там за кулисами, в мастерской, в лаборатории, рассмотрим внутренний механизм, согласно которому вы сможете оценить *Метод сочинения*.



«ЭВРИКА». ЗАМЕТКИ ПЕРЕВОДЧИКА

1865 г.

Искренним ценителям талантов Эдгара По скажу, что считаю свою задачу выполненной, но, желая угодить им, возвращаюсь к ней снова. Вполне достаточно двух выпусков «Необычайных историй», «Новых необычайных историй» и «Приключений Артура Гордона Пима», чтобы представить Эдгара По во всем его разнообразии — в роли рассказчика-ясновидца, порой пугающего, порой приятного, попеременно насмешливого и нежного, всегда философа и исследователя, любителя волшебства совершенно правдоподобного, автора бесстрастной мистификации. «Эврика» представила нам честолюбивого и тонкого диалектика. Если б я мог успешно продолжить свою задачу в такой стране, как Франция, мне осталось бы представить Эдгара По как поэта и как литературного критика. Любой истинный ценитель поэзии признает, что первую из этих обязанностей выполнить вряд ли возможно и что мой весьма скромный и весьма покорный автору дар переводчика не позволяет мне при передаче на французский язык восполнять от себя исчезающее наслаждение рифмой и ритмами оригинала. Но тем, кто способен угадывать многое, довольно стихов, включенных в его сборники рассказов — таких, как «Червь-победитель» в «Лигейе», «Дворец призраков» в «Падении дома Ошероу» и таинственно-красноречивый «Ворон» — чтобы открыть для себя чудо истинной поэзии.

Что же касается другой стороны его таланта — критики — нетрудно понять, что вещь, которую я бы назвал «Беседы по понедельникам», вряд ли может понравиться лег-

комысленным парижанам, которых нимало не заботят литературные раздоры, разделяющие еще молодую нацию на два лагеря, вследствие чего как в литературе, так и в политике Север враждует с Югом.

В заключение я скажу французам, незнакомым друзьям Эдгара По, что я буду горд и счастлив, если мне удастся заронить им в душу представление о новой разновидности красоты; и, кроме того, почему бы мне не признаться в том, что при этом меня поддерживало желание представить им человека отчасти похожего на меня, то есть в какой-то мере отразившего меня самого?

Верю, что недалеко то время, когда господа издатели произведений Эдгара По для французского дешевого издания ощутят насущную необходимость напечатать их более солидно, для библиотек любителей литературы, и с большей строгостью подойдут к отбору и расположению материала.





СОДЕРЖАНИЕ

ИСКУССТВЕННЫЙ РАЙ

Перевод В. Лихтенштадта

Вино и гашиш	7
Искусственный рай	29
Поэма о гашише	31
Опиоман	75

ОЧЕРКИ ОБ ЭДГАРЕ ПО

Перевод М. Квятковской

Предисловие к «Месмерическому откровению»	157
Эдгар Аллан По, его жизнь и произведения	160
Предисловие к «Беренике»	186
Предисловие к «Философии обстановки»	188
Посвящение к «Необыкновенным историям»	190
Послесловие к «Необыкновенным приключениям некоего Ганса Пфааля»	192
Эдгар Аллан По, его жизнь и творчество	196
Новые заметки об Эдгаре По	238
Возникновение одного стихотворения	258
«Эврика». Заметки переводчика	261

СТАТЬИ О ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

«Нормандские рассказы» и «Пустычные истории». <i>Перевод Л. Цывьяна</i>	265
«Освобожденный Прометей». <i>Перевод Л. Цывьяна</i>	266
«Век». <i>Перевод Л. Цывьяна</i>	270
Советы молодым литераторам. <i>Перевод Л. Цывьяна</i>	271
Как платить долги, если вы гениальны. <i>Перевод Л. Цывьяна</i>	279
Рассказы Шанфлери «Шьен-Кайу», «Бедная Тромпетта», «Покойный Мьетт». <i>Перевод Л. Цывьяна</i>	283
Жюль Жанен и «Королевское печенье». <i>Перевод Л. Цывьяна</i>	287

Добропорядочные драмы и романы. <i>Перевод Л. Цывьяна</i>	289
«Сова философ». <i>Перевод Л. Цывьяна</i>	296
Поскольку реализм существует. <i>Перевод Л. Цывьяна</i>	299
Филибер Рувьер. <i>Перевод Л. Цывьяна</i>	302
«История Нейи и его замков». <i>Перевод Л. Цывьяна</i>	308
«Опасные связи». <i>Перевод Л. Цывьяна</i>	310
«Госпожа Бовари». <i>Перевод Л. Цывьяна</i>	321
«Двойная жизнь». <i>Перевод Л. Цывьяна</i>	333
Теофиль Готье. <i>Перевод Е. Баевской</i>	339

О СОВРЕМЕННОКАХ

Теофиль Готье. <i>Перевод Е. Баевской</i>	369
Леконт де Лиль. <i>Перевод М. Квятковской</i>	373
Эжезипп Моро. <i>Перевод М. Квятковской</i>	378
«Смешные мученики». <i>Перевод Л. Цывьяна</i>	385
Реформа в Академии. <i>Перевод Л. Цывьяна</i>	392
Дух и стиль господина Вильмена. <i>Перевод Л. Цывьяна</i>	397
Годовщина Шекспира. <i>Перевод М. Квятковской</i>	423
Наброски письма к Жюлю Жанену. <i>Перевод Л. Цывьяна</i>	429
Актер Рувьер. <i>Перевод Л. Цывьяна</i>	438

ЭССЕ. ДНЕВНИКИ

Избранные утешительные максимы о любви. <i>Перевод Г. Мосешвили</i>	443
Дневники	451
Фейерверки. <i>Перевод Е. Баевской</i>	451
Гигиена. <i>Перевод Е. Баевской</i>	469
Мое обнаженное сердце. <i>Перевод Г. Мосешвили</i>	477
Мысли, афоризмы. <i>Перевод Е. Баевской</i>	504
Комментарии	506



Литературно-художественное издание

БОДЛЕР Шарль

ПРОЗА

Перевод с французского

Составитель
ВИТКОВСКИЙ
Евгений Владимирович

Главный редактор *В. И. Галий*
Ответственный за выпуск *Л. И. Вакуленко*
Художественные редакторы *Б. Ф. Бублик, Л. Д. Киркач*
Технический редактор *Л. Т. Ена*
Компьютерная верстка *Е. Н. Гадиева*
Корректоры *Е. А. Волкова, Е. Ф. Донец*

ISBN 966-03-1454-X



Подписано в печать 30.05.2001. Формат 84×108¹/₃₂.
Бумага офсетная. Гарнитура Тип Таймс. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 27,72. Усл. кр-отг. 28,14. Уч.-изд. л. 26,2.
Тираж 5000 экз. Заказ № 1-327.

ООО «Фолио»,
61002, Харьков, ул. Артема, 8
Электронные адреса:
www.folio.com.ua
E-mail: foliosp@vlink.kharkov.ua
Интернет магазин «Книга — почтой»
www.bookpost.com.ua

Отпечатано с готовых позитивов
на книжной фабрике «Глобус»
61012, Харьков, ул. Энгельса, 11